

К. Н.
ЛЕОНТЬЕВ

Сочинения



Константин Леонтьев

В своем краю

«Public Domain»

1864

Леонтьев К. Н.

В своем краю / К. Н. Леонтьев — «Public Domain», 1864

«...У старухи распухла нога; Руднев купил на свои деньги камфары и спирту и сказал: «Растирать, а завтра сделаю бинт и бинтом тебе...» А старуха подумала «винт» и, когда он вышел из избы, подняла крик, что над ноженькой своей баловать не даст, и чорт бы старого барина взял, что он ее научил Ваську-дурака призывать. Камфару забросила, а спирт выпили внуки старухи...»

Содержание

Часть I	5
I	5
II	9
III	13
IV	19
V	22
VI	26
VII	29
VIII	36
IX	38
X	43
XI	47
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Константин Леонтьев

В своем краю

Роман в двух частях

Часть I

I

«Каких страданий не переносит человек! О, Боже! Чего не терпит он в жизни – болезни, обиды, сомнения, нужду, обманы! И если бы от этого была польза другим; но нет: и другой страдает, и третий! Все мы друг друга гоним и тесним, все боремся из-за хлеба и крыши!.. Вот я теперь врач: я имею право решать участь семейств; я могу спасать людей; могу иметь чины; лет через 20 уже буду не бедный мещанин Руднев, незаконный сын крестьянки, а доктор Руднев – генерал от медицины.

Приятно, конечно, быть доктором! Но остаться здесь, в Москве; ждать-ждать, работать и не видеть, не чувствовать своей работы в куче других алчных работников! Не лучше ли производить меньше, да на своем станке, чем быть фабричным».

Руднев глядел на свою жалкую комнату: в воздухе пахло соседней кухней; сальная свеча догорала в черепке: диван, прорванный до того, что один товарищ принял паклю, которая из него вылезла, за собаку и отскочил от нее; окурки и сор на полу; на самом – старый халат...

Не лучше ли в глуши? В глуши, ему казалось, легче сохранить драгоценную теплоту своих помыслов – единственное благо, в которое он верил.

Стрелой промчались первые годы его жизни, и уже сколько горя, сколько мелких, но для него тяжелых испытаний!

Картины прошлого? Но где они, эти милые картины? Отца он вовсе не помнил, и слава Богу! мать помнил только в самом первом детстве. И хорошо было это первое детство! Разве он не помнил сам немного, и разве не рассказывал ему кой-кто, какой он был дикий, слабый, боязливый и сердитый мальчик? Коров и собак боялся, спать около белой печки боялся, гостей боялся. Другие дети, красные, толстые, шумят, играют, воют, игры, драки затевают; а он бледен и одинок, как церковная свечка в уголку!

– Недотыка! Недотрога! – зовут его дети, ноги ему подставляют; покажут ему издали пушок или палец: он уже кричит и плачет.

– Какой несносный! – говорят уездные отцовские родные.

– Вася, вот тебе новый стулик; у тетиных детей у всех есть стулики, вот и тебе...

Вася рад; сел на стулик и от радости ни слова!

– Что ж ты тетю не благодаришь, свинья какая! – говорит одна старушка.

– Эх, матушка, – отвечает другая, – еще благодарности от этого хамья ждать. На то и мать его мужичка; ведь отец-то его, тем что женился перед смертью на ней, благородства не придал!..

Вырос дитя стройным отроком; а все бледен как воск и нежен как девушка, и глаза печальные. Кто, имея душу, видел его раз, тот не забывал его лица, его бровей, как нарочно потемнее и поотчетливее начерченных; его темных волос, которые сами поднимались хохолком над выпуклым лбом.

Вот он уже прилежный ученик: тетради его как бисером нанизаны; с золотой доски не сходит; от всякой шалости подальше; в свободное время вырезывает и скоблит линейки, тет-

ради шьет, рисует, карты чертит. Тетради свои он не дает всякому, а кому и дает, всегда скажет: «Я ничего не прошу для себя, и вы меня оставьте!» Иной товарищ схватит тетрадь да ему в шею или по щеке!

Нередко он возбуждал зависть и злость товарищей тем уважением, которое ему оказывали учителя. Учитель математики, который всем говорил «ты» и «осел» или кричал: «ступай, осел, ступай; что ты начертил, вместо барометра, соху какую-то; ступай к отцу в деревню пахать!» – этот учитель звал Руднева «вы» и «г. Руднев», хотя по закону Вася был менее, чем кто-нибудь, «господин»; уже заранее кивал головою и закрывал от радости глаза, когда фаворит его выходил и начинал: «два параллелепипеда, равных основанием и равной высоты». И никогда не скажет, как другие с грубой поспешностью, какой-то «пирипирид», а так чисто и твердо: «параллелепипед!» Зато, при случае, товарищи и не щадили его и прозвища ему другого не было, как то бранное имя, которое напоминало ему его незаконное рождение, страдания его матери, его податное сословие. И если гнев и отчаяние заставляли его изредка изменять своим тихим привычкам, он кидался на силачей и с невыразимой смелостью шел на побои и терзания... Его душили, топтали, драли за волосы до того, что дня два гребенкой было больно тронуть.

Кончилось это, стал он студентом; отдохнул бы! Но тут он в первый раз узнал настоящую нужду, стал часто болеть, едва успевал управляться с непривычными занятиями. На воображение его раздирающим образом действовали трупы синие, зеленые, худые, раздутые водой, удушенники, замерзшие пьяные женщины, одинокие старички и старушки, которых никто не требовал для похорон и которых терзали на куски для студентов... Он должен был прожить целый год в борьбе с самим собою, чтобы привыкнуть к постоянному созерцанию смерти во всех ее самых грязных, самых скучных видах; прожить года три в мучительном полубезверии; томиться то страхом небесного наказания, то стыдом от своего малодушия и боязни; сносить всю тоску мнительности больного и не привыкшего к научным тайнам человека, который начинает везде видеть яд и смерть вокруг себя – и в воздухе неудобного жилья, и в заразительном воздухе больниц, и в дешевой, кой-как приготовленной, пище, и в сидячих трудах, и в оттепели, и в морозе, и в зною, и в дожде... Нет, Боже, Боже мой! это уже слишком много для одного!

От товарищей он бежал – что ему в них? Одни – веселые ремесленники; другие – люди светские; третьи – такие же жалкие, каким он сам себе казался; иные глупы, иные молодцы, но бесстыдны, кощунствуют и издеваются над трупами.

Когда кто-нибудь из них звал его в театр, он говорил: «В театр? Для чего. Чтобы увидеть там краски, горы, море, прекрасные глаза, слышать музыку, вернуться домой и сказать себе: «это только театр!» Однако у Руднева был один верный друг – дядя, и не родной брат отцу, а двоюродный; близкие родные все отняли у него, что после отца осталось; а этот дядя жалел его еще тогда, когда он был у матери на руках, и с матерью был дружен; студентом Руднев каждое лето ездил в его деревушку. В деревне этой было всего тридцать пять душ, и вид ее вблизи был, конечно, слишком беден и невесел; дом дяди – просторная, старая изба; сад – две десятины; два-три сарая; изломанная повозка на дворе... Но, если Руднев мало помнил веселого, зато помнил много покойного и трогательного, и все, что он помнил покойного и трогательного, было в деревне у дяди – прудок, в котором они уживали рыбу с матерью, огни деревенские, березник редкий и печальный над страшной рытвиной, промытой к Пьяне весенними ручьями, луга перед сонной Пьяной, на которой летом расцветают белые и желтые водяные лилии; доброе, розовое, почти девичье лицо матери; стан ее, слишком рано растолстевший от сидячей жизни; игра любимых его коклюшек в немой и ослепительный зимний полдень; ласковый голос матери в шутиливую минуту: «Васюта! Притвори-ка дверь, а то маленько ветрененько!» и голос умирающей: «Вася, мой Вася! пожила бы я еще с тобой, ангел мой!» Там и дядя, и старый Таврило – летом огородник, зимой столяр и плотник – один весь от рождения набекрень, другой крючком от старости – рассказывали ему про мать.

– Родился ты в городе, в самое Крещение, – говорил дядя. – Что за страданье было! Покойный брат сидит в столовой и рыдает как баба, усач-то этакий! «Я погубил ее, я погубил ее, окаянный грешник! Иоанн Креститель, угодник ты Божий! Ты главу свою положил еси за ны! Погуби в этот святой день твой и мою главу, старого грешника; да сохрани, угодниче, душу сироты невинной, сироты безгрешной! Я, говорит, соблазнил ее: я – грешник поганый. Во всем-то я грешен, как посмотрю – и в прелюбодеянии, и в гневе, и в любостязании, и в гордости грешен!» А народ с иордани валом валит мимо окон и слышит, как она стонет: «Вот, говорят, душегуб Руднев, кого-нибудь из своих дерет!» Я подошел, взял его за руку и говорю: «Успокойтесь, братец, не гневите Всевышнего. Он даде – Он и отнимет... Он даде – Он и отнимет!» – «Братец, – говорит он, – за что же ее душа смертный грех на себя взяла?» – «Очистится, братец, – я говорю, – очистится. Я послал уже за отцом Дмитрием; он прямо с иордани сюда». И представь себе, Вася, едва перешагнул порог от. Дмитрий, так она и разрешилась благополучно. Так брат вбежал к ней, упал около кровати на колени и ну, молча, земные поклоны класть, и ну, поклоны класть, и ну, земные поклоны класть!..

Да! Старый отец любил молодую мать! Но как? Хоть она и звала его своим благодетелем, хоть и рыдала навзрыд по несколько раз в год над его могилой; но не сама ли раз она, не остерегшись детской внимательности, сказала при нем дяде: «Как не болеть мне, родной, как не болеть – ведь на мне разве печка только не была!» И Гаврило тоже – он помнит, сам на корточках сеет в грядку у заднего крыльца жалкие ноготки и бархатки, которыми пренебрегает всякий хороший садовник – сеет эти никому не нужные цветы, как нарочно, чтобы еще больше разжалобить отрока-страдальца, и ворчит, и ворчит...

– Маменька ваша! Маменьку вашу все мы помнить будем... Чего только она и за себя, и за народ ни приняла на свою голову! Хмельной из города приедет, она норовит первая выйти, пусть на ней злость сорвет. Бил он ее, бил! Под диван раз ногами засовал. Самый последний Ирод проклятый, мужик сельский, пастух деревенский, и тот свою дуру-бабу, кичку рогатую, больше жалеет, чем ваш батюшка вашу матушку жалел, когда хмелен бывал. А она, сердечная, ни гу-гу! Вот после его смерти, царство ей небесное, на волю меня отпустила, да разве я пойду куда отсюда? Ни за какие мильоны и от живой бы не ушел, и от могилы ее не уйду! Разве она мало нас всех жалела? Никто бранного слова от нее не слышал! Вот разве девчонки? Так ведь вошкариц этих если не бранить, так что же это будет? Раз, уж вдовья была, здесь жили, уехали в Саров на трое суток Богу молиться и приказала Матрешке да покойнице Ольгушке: «Ночуйте – одна у меня в комнате, а другая у Владимира Алексеича, чтобы клопы не оголодали». А они, дуры, побоялись врозь ночевать, да обе вместе в кухне и спали. Приехали господа; клопы оголодали, да всю ночь спать им с дороги не дали. Так еще бы и за это вошкарицу не бранить. Я и тогда сказал: «Дайте-ка, матушка, я их крапивой пострекаю сзади-то; у них шкура больно нежна стала!» – Разве они клопов боялись? Да ведь она, девчонка-то, спит как бревно! Разве ее клоп проймет? В кухне им прусаки все руки поизъели, а все сопели, всю ночь сопели! Однако маменька ваша не приказали крапивой сечь, а только дурами их называли да посмеялись.

Все это он слышал в Деревягине; и если само Деревягино было жалко и сухо, то вся окрестная сторона, напротив того, оживлялась лесами и рощами, множеством сел, усадеб и простых деревень; народ в их краю был нарядный, сытый и красивый; куда ни оглянись, везде белелись церкви из-за зелени; сколько разных помещиков жило в их стороне! Рудневу до них самих не было дела; но приятно невидимкой чуют жизнь неподалеку от себя... и самое Деревягино выигрывало от таких окрестностей. Все знакомые имена!.. (и даже дорогие, пока Руднев не существует для их обитателей)... В четырех верстах от них пышное Троицкое, на самом берегу Пьяны: бор большой; дом большой, кирпичный с белыми украшениями, с маркизами и террасами, ковры цветников сбегает к реке из парка; фонтаны бьют все лето; по холмам шире другого уездного города раскинулись избы; сколько новых срубов! Сколько картинных уголков! Здесь живет уже лет десять г-жа Новосильская с тремя детьми, и дядя часто бывает

у них; и хотя сам Руднев, конечно, не поедет к ней в дом, но за церковной оградой Троицкого стоит простая деревянная решетка над его матерью, которую он так любил, что до сих пор весь содрогался, встречая вдруг на улице слишком полную и румяную молодую женщину. В кустах Троицкого он часто охотился прежде с дядей в «нахлопку» с борзыми и навсегда привязался к охоте. За Троицким, верстах в 12-ти, скромное и чистое Куреево, где живет всем известный в их стороне человек – предводитель Лихачев, получая от дворян большой оклад за свою службу. В Курееве – большой осинник и два дикие флигеля с красными крышами друг против друга; налево – предводитель, а направо его младший брат – статный молодец в поддевке с надменным выражением лица. Дальше бор большой; а за бором в Чемоданове большой дом г-жи Забелиной, грозной старухи, вдовы трех мужей. На столбовой дороге – щегольское, новое жилище красавицы и губернской щеголихи – Протопоповой... Избави Боже от знакомства с ними! Но картины их деревень уже не вырвать из сердца!

Туда, к доброму дяде, поедет он теперь, и все лучшие места при столичных больницах не соблазнят его! Теперь он жаждет только одного: отдохнуть на чистом воздухе и привести в порядок свои мысли; а там, пускай придет и смерть в своем углу, как смерть дерева в лесу, правильно и привольно погибшего от старости!

II

«Как сильно пахнет свежим тесом в этой новой пристройке! Что за воздух везде – и в пристройке, и в саду, и в лугах, и над рекой, и на мирном и таинственном гумне за овином! Как мало нужно человеку, чтобы прожить век в неспешном труде и пламенном и торжественном молчании. Где смрадные трупы, где ужасная квартира, измученный студент? Куда исчезло все это?» Здесь хоть и тесно, но все удобно и свежо. Его пристройка на углу; два окна в огород, а третье с видом на Пьяну. Своей рукой, распевая песни, прибил он простые полки к стене; растрепанные книги его пока в порядке, и сам он едва ли когда подходит к ним; взглянул с уважением издали и отвернулся к окну. Для будущих бедных больных уже готов шкафчик с пустыми коробками и банками; у окна стол для аптечной работы. – И посмотрите, здесь все можно найти! Все необходимое, простое здесь доступно человеку. Вот, вместо сифона – пузырь с деревянной трубочкой домашней работы; нашлась где-то лейка и большая фарфоровая чашка без ручки вместо ступки и настоящая медная ступка. Дядя долго рылся в вещах покойной матери, отыскал там костяную ложечку и маленькую терку и сказал: «Это для корешков. Не знаю, как по вашей науке, а я полагаю, что ископаемое царство вреднее трав. Я думаю так: где находится болезнь, там и трава растет нужная. Вот по Пьяне лихорадочки живут, а по межникам полыни множество и трифоль в болотцах. У мужика натура крепкая, и простым пособишь!» Весы и разновес подарил ему уездный аптекарь, чтобы не забывал его, когда войдет в силу. Сломало ветром сук у яблони; дядя погоревал, а столяр отрубил от сука кусок, выточил змейку, покрыл лаком, раскрытую пасть выкрасил красной краской, глаза сделал, укрепил ее хвостом на пьедестале, вдел в рот весы и сюрпризом поставил на аптечный стол. И вешать ловче, и красиво, и случайная эмблема Эскулапа, и дружба столяра! Во всем этом слышал Руднев живую душу, все эти мелочи принимали сами собою, без всякого усилия мечтательных мыслей, в благородном сердце огромные размеры... Какое чистое пламя любви и человечности загоралось в отдыхающей душе!

Уж скоро два месяца живет он так и думает. Дядя не мешает ему. Дядя сам всегда скромно жил и скромно живет до сих пор; молодости он не знал, зато и старость в нем незаметна. А какой он маленький, слабый, кривобокий! Сам сознается, что товарищи в детстве его дразнили: «фик-фок на крив бок!» А он нисколько и не горюет об этом. Горевал ли прежде – кто знает! Верно, не очень сильно. Самый вздох, с которым он, опускаясь сейчас на скамью заднего крыльца, раскрыл свою любимую книгу – разве это вздох настоящего страдальца? Нет! настоящему страдальцу впопыхах и вздохнуть нет времени; настоящий страдалец – тот, чье достоинство рушится в прах в озлобленной, сухой и суетной борьбе! Крик тому наедине с самим собою, скрежет зубами, а не вздох с раздумьем и глубиной! Посмотрите на дядю – торопился ли он когда? Посмотрите, какой он удобный, опрятный, смирный. Едва встал, сейчас помылся, выбрился и пригладился: хохолок фамильный, рудневский, кверху – это значит достоинство; виски вперед – означает любезность; сюртук коричневый надел, в зеркало старинное посмотрелся, и лицо не стало грустнее от того, что «фик-фок на крив бок!» Ничуть не бывало! Еще ободрился, как увидел себя; ободрился, взял трубку и вышел к старосте, и затвердили одно и то же на целый час.

– «А что, Тимофей, сено выкосили?» – «Выкосили». – «Выкосили, не выкосили...» – «Даст Бог погодушку, не даст Бог погодушки...» – «Не любит мокроты сено!» – «Беда как не любит сено мокроты». Точно это – новость какая для них. И тут не спешат; между каждым вопросом и ответом помалчивают и подозрительно глядят друг на друга; староста как бы невинно бороду выставил вперед: «на, вот – я весь тут чист и свят перед тобой!» А дядя курит трубку.

Уйдет староста; дядя по биркам считает или на работы смотреть пойдет; или табак сам себе растирает, или сядет читать.

– Дядя! что это вы читаете – «Памятник Веры» или «Театр света»?

– «Памятник Веры» читаю.

– Ведь он на четных страницах «Памятник Веры» и на нечетных – «Дневник Российских достопамятностей». Так вы где?

– «Памятник Веры» читаю.

– О ком?

– Преподобного отца нашего Мартиниана.

– Почитайте-ко громко – я послушаю. Что он делал, Мартиниан. Посмотрим.

«Святой Мартиниан с осьмнадцати лет водворился в пустыне близ города Кесарии Палестинския. Во всем городе чудились пустынноческому житию молодого и прекрасного юноши. Одна прелестница потщеславилась перед мерзкими подругами своими, что она искусит и преодолееет его воздержность. С сим дьявольским намерением в один дождливый вечер прибежала к пещере в рубище, но с узлом нарядного платья, и жалостно возопила к пустыннику: «Праведниче Божий! спаси меня; я сбилась с дороги, не знаю теперь, куда идти; не отдай меня на растерзание зверям». Пустынник должен был дать ей у себя пристанище. Передняя пещера была предоставлена ей в ночлег, а внутренняя осталась для хозяина. Ангел сатанин начал тревожить мысли возненавидевшего мiр. Пустынник на самом рассвете хотел бежать от соблазнительного предмета, но вдруг увидел пришлицу в городском наряде и пришел в оцепенение. Коварная, пользуясь его недоумением, начала истощать всякое красноречие, чтобы соблазнить невинного. Чувствующий вожделение и вместе преступление, вышел из пещеры, набрал хворосту и, в глазах соблазнительницы зажегши оный, стал на огонь, весь опалился и сам себе сказал: «Что, Мартиниан? лучше ли приять огонь вечный или сие временное мучение?» Хранитель невинности едва мог выскочить из огня и пал от слабости.

Побежденная и посрамленная сбросила с себя цветное одеяние в тот же огонь, надела на себя прежнее рубище, пала к ногам страдальца, молила его о прощении и поклялась перед ним очистить себя от всех прежних грехов целомудренною жизнью. Преподобный Мартиниан оставил по себе пример целомудрия».

Уж дядя давно кончил; уж пообедали вместе; старик, севши в беговые дрожки, поехал в Троицкое играть с «графиней» в шахматы, как будто вся его обязанность заключалась в том, чтобы знать о Мартиниане, а не в том, чтобы подражать ему – а молодой Руднев один на крыльце.

– Ах! Мартиниан! Мартиниан! Как ты прав! Как приятно одиночество. Пусть это чувствовал смуглый аскет в азиатских сухих скалах и под пальмой; но разве оттого, что на мне нет хламиды и что живу я на влажных берегах Пьяны, я не пойму его? Дядя-чудак больше моего обо всех этих отшельниках знает и не стыдится по целым часам смотреть, как крестьяне для его пропитания хлеб молотят или в анбар сыпают; велит стул себе перед гумно принести, кисет, табаку, связку баранок, а вечером, после «Памятника Веры», к «графине» в шахматы или карты по три раза в неделю не боится ездить!.. Нет, я бы на этом не помирился! О, тишина, святая тишина! Ты научишь меня, что делать!

Но дядя ехал не просто играть в шахматы в Троицкое: он ехал жаловаться на застенчивость своего приемыша и друга.

Давно уже мечтал Владимир Алексеевич о том, чтобы именице, которое он взлелеял вставаньем до света, мелкой придирчивостью к людям, копеечными оборотами и кое-какими побочными доходами в то время, как был непременно членом в соседнем городе – чтобы это именице не досталось законным родственникам его, а Васе. Вася должен поскорей дослужиться до дворянства или жениться на дворянке, которая за него бы владела деревягинскими душами.

– Так ты, Вася, в Троицкое не поедешь со мною? – спросил после обеда Владимир Алексеевич.

– Нет уж, дядя, поезжайте одни! А я поеду на днях панихиду по матушке служить, – отвечал слабым голосом Руднев, зная, как он этим отказом огорчает дядю.

– Панихида, конечно, долг, – сказал дядя, – аи туда бы к ней самой недурно...

– Зачем?

– Рассеяние.

– Я не скучаю.

– Разве тебе она не по душе? Добрейшего сердца дама. И вид какой...

– Видел я ее в церкви!

– Что ж, Вася, разве плоха?

– К чему это такой рост? – с пренебрежением отвечал Вася, – и очень много уж руками рассуждает. Мне к такой рослой женщине и подойти страшно.

– Ты любишь книги, а книг там много. Молодежь, девицы бывают иногда, иногда бывают девицы...

– Вам все женить меня хочется, дядя... Нет, вы это оставьте! И к чему это мне жениться? Чтобы в тесноте кислым молоком пахло? или чтобы с женой в кибитке тащиться и нюхать, как рогожей воняет, и смотреть, как она клушей сидит? А я от жалости возненавижу ее... Нельзя не возненавидеть человека, которого надо беспрестанно жалеть! Сил не станет.

– Ну, служить! – помолчав, сказал дядя.

– Служить; рад бы, да в город смерть не хочется, а здесь как служить? даже в троцкий лазарет ездит доктор из города...

– Если хочешь, я похлопочу, чтобы тебя...

– Нет, нет, избави вас Боже!

– В таком случае практику надо по домам завести, у других отбить. Скоро ты и христианству своему пищи и опоры не найдешь. Последние свои пять рублей издержал из лекарства; а после что будет? Лечи помещиков... По крайней мере, источник есть, опора, пища, источник есть! И крестьяне своим порядком могут дань доставлять: куры, яйца, полотно...

– Без источника я сам знаю, дядя, что нельзя... дайте образумиться.

– Живи, живи себе, Вася, как знаешь; я говорю только из предусмотрительности об источниках... Для твоих же христианских правил.

Руднев покраснел.

– Далеко кулику до Петрова дня, дядя, и мне до христианских правил далеко! Если б я надел тулуп и почти не жил дома, и ходил с котомкой от старухи к старухе, от больного к больному: кто в силах сам купи лекарства, не в силах – я помогу – вот тогда бы я был христианин! Чтоб каждый грош, который я отдаю бедному, отзывался во мне, с непривычки, лишением и страданием – вот это – христианин! тогда бы я и к помещику пошел бы смело и взял бы с него деньги, чтобы обратить их туда же. А я ведь этого не делаю... И даже, – прибавил он, вздохнув, – не стану ничего предпринимать решительного, пока не приду в себя, не обдумаю всего, что мне нужно.

Руднев продолжал ходить по комнате; дядя внимательно следил за ним глазами.

– Старик стариком сгорбился, – заметил он наконец с досадой. – Это упорство заметно в тебе с малых лет и происходит ни от чего другого, по моему мнению, как от твердости характера!

– Какая у меня твердость!

– Нет, твердость есть, твердость есть... Как хочешь, брат, а твердость есть!

– Да что же вы меня как будто обвиняете? Я очень рад, если она есть.

– Это, смотря по обстоятельствам дела, Вася, смотря по случаю; я тебе скажу про себя. У меня всегда был твердый характер. Но изволишь видеть, где ахиллесова пята... Человек

твердый упорствует во всем и не без ущерба иногда! В 48-м году была холера и меня затронула. Признаюсь, я испугался; потом мне стало легче; но что ж? никто не мог успокоить меня, дрожу от страха. Человек слабый успокоился бы давно; но я, твердый характер, стал на своем: боюсь, боюсь и боюсь. А это вредно, ты сам знаешь! Так вот и ты себе на зло все делаешь...

После этих слов дядя уехал, но всю дорогу не выходила у него из ума задача, как бы оживить дорогого упрянца и отшельника.

III

– Здоровы ли вы, Владимир Алексеевич? – спросили в Троицком старика Руднева.

– По мере возможности, графиня, по мере возможности... Года уж не те...

– Отчего ж? Вы гораздо старше меня, а я перед вами развалина. Завтра хотим ехать в *** монастырь... Боюсь, что неостанет сил сделать верхом сто слишком верст взад и вперед. Грудь болит, и голова кружится.

– 'Года уж не те, графиня! Бодрости нет – сообщения соков...

Хотя Владимир Алексеевич с трудом решался говорить про свои чувства, пока не было в этом крайней нужды, но Новосильская умела сейчас узнавать, когда соседа волновало что-нибудь: язык его не выдавал, но выдавали брови, которые прыгали и от радости и от горя.

– Вы что-то не в своей тарелке! – сказала она ему. – Скажите-ка, что с вами... Не пригложусь ли я?

– Да все Вася... с Васей вожусь.

– Что же он?

– Пыжик; как был в десять лет пыжик, так и в двадцать остался... Нет, нет и нет.

– Что нет? Служить не хочет?

– И служить не хочет, и к вам ездить не решается...

– Хотите, – сказала Новосильская, – я сама ему первый визит сделаю? Завтра мы все, и Лихачевы с нами, заедем к вам около двенадцати часов... Это по дороге; и уговорим его... Я и детей заставлю просить... А уж раз познакомится, не будет бояться нас...

– Только вы его не слишком! Изволите видеть... надо знать человека... надо знать человека...

– Не беспокойтесь, – сказала Новосильская. Старик притаился так, что Рудневу и в голову ничего не пришло.

На следующий день он сидел у окна и читал. За полчаса перед тем ушла от него первая пациентка, которой он сделал пользу... и с которой ему было очень много хлопот. В дядиной деревне никто и верить не хотел, что «Васинька-то дитятя» стал «лекарем». У старухи распухла нога; Руднев купил на свои деньги камфары и спирту и сказал: «Растирать, а завтра сделаю бинт и бинтом тебе...» А старуха подумала «винт» и, когда он вышел из избы, подняла крик, что над ноженькой своей баловать не даст, и чорт бы старого барина взял, что он ее научил Ваську-дурака призывать. Камфару забросила, а спирт выпили внуки старухи.

Купить больше было не на что: крестьяне своих денег не давали, а у Руднева уже не было; насилу выпросил у дяди полбутылки деревянного масла, смешал его с камфарой, которую забросили на полку, и насилу наш молодой доктор убедил старуху, что у него в руках «бинт», а не «винт». Бинтовал он отлично; старуха разлакомилась и все приговаривала невестке: «Ай-да Вася наш... Вася... мне и то легче стало... Нет, друг, он знает!..» – Известно, кто чего держится, так тем и управляет, – отвечала невестка.

Опухоль через неделю спала, и старуха сама пришла к «дитяти» и принесла ему разукрашенное полотенце, которое он с удовольствием принял.

Приятное впечатление от этого случая было еще так сильно, что Руднев взял нарочно книгу, желая остудить свое волнение; но читалось ему плохо... «Спасибо! спасибо!» – чудилось ему беспрестанно, – «Ты молодец!.. Живи ты нам на пользу и радость... Нет, Василий Владимирович наш ничего, тебя уважать можно. Ты людям нужен. Ты не последняя спица в колеснице... Спасибо, молодец; спасибо, молодец, Василий Владимирович. Ай-да Вася наш деревягинский!..»... Наконец он положил книгу и, так, в самом хорошем настроении духа, глянул в окно на дорогу, которая вилась с горки на горку к реке.

Вдруг на первой горке показались всадник и всадница. За ними два других, еще трое, еще два – 9 человек! вдали чернелись экипажи... ближе-ближе...

Руднев уже ясно мог разглядеть все общество: впереди, рядом с Новосильской, солидно ехал длинноротый, толстый предводитель на большой казацкой лошади; за ними, гарцуя на сером в яблоках, чересчур уже красивом коне, сопровождал скромную англичанку кудрявый брюнет в парусинном балахоне и синей фуражке; дети, берейтор-солдат, француз, должно быть, на чахлой клячонке, в круглой соломенной шляпе, спешили за передовыми...

Одно мгновение – Новосильская пустилась в гору вскачь; за ней другие; поворотили во двор; дядя уже суетился на крыльце... Филипп помогает дамам... Руднев! что с тобой? В твоей ли пристройке такой шум, такая толпа светских людей? Едва находишь ты голос для коротких и смущенно-строгих ответов. Все улыбаются, жмут доктору руку, зовут и просят; дети спрашивают: «Что это? что вот это у вас? а эта человечья голова зачем?..» – Доктор, верно, френологией занимается, – говорит рослый и кудрявый молодец в балахоне.

– Разве вы верите в систему Галля? – спрашивает Новосильская с улыбкой, и сверкнула глазами так, что Руднев не знал, что это: насмешка, ласка или светская наглость?..

– Нет, я занимаюсь немного рациональной краниоскопией и вообще остеологией, – отвечал доктор глухо.

– Вы ведь верхом поедете с нами? – перебивает его второй сын Новосильской, здоровый мальчик, лет одиннадцати, с приятно-русским лицом.

– На Стрелке; Стрелка смирная, – говорила старшая дочь, обращая на него задумчивые карие глаза...

– Милькеев, где мы будем теперь есть?.. – кричит третья дочь.

– Везде, – отвечает Милькеев.

– Дети! Довольно... – раздается голос француза.

– Он изучает всего человека, – шепчет дядя, где-то за шкапом.

– А, и вы любите исповедь Руссо? – спрашивает Милькеев, снимая с полки книгу. – Катерина Николаевна и м. Баумгартен находят эту книгу грязной...

– Не правда ли, вы тоже находите? Разве можно позорить так, как он, свою благотворительницу, m-me Warens? – спешила спросить Катерина Николаевна.

– Нисколько, не нахожу-с...

– Что! что! – кричит Милькеев, – наша взяла! Не правда ли, доктор, нравственность есть только уголок прекрасного, одна из полос его?.. главный аршин – прекрасное. Иначе, куда же деть Алкивиада, алмаз, тигра, и т. д.

– Опять свое!

– Дело, дело говорит Милькеев, – перебивает толстый предводитель.

– Едемте, уж первый час. Едем!

Какой вихрь, какая слабость унесли Руднева, но он и оглянуться не успел, и возразить не нашелся перед этой шумной ватагой... перед этими детьми, которые без церемонии тащили его за руки и цаловали его, умоляя не отказываться, и он, сам не зная как, очутился на линейке рядом с очень почтенной, седой дамой в синем шерстяном платье и большом платке, которую все называли то няней, то Анной Петровной. На козлах линейки сидел усатый армеец лет сорока с загорелым и недобрим лицом в истасканном сюртуке.

– Капитан, – сказала ему Катерина Николаевна, – вот вам еще спутник; он будет вас мирить с Анной Петровной.

Капитан глупо и подобострастно улыбнулся и приподнял фуражку.

Все посели на коней и тронулись.

Веселый Федя остался верхом около линейки.

– Напрасно вы не хотели ехать верхом на Стрелке, – с сожалением сказал он Рудневу. – Какая это лошадка! Послушная, седло мягкое, казацкое... Мы у вашего дяди заранее узнали, ездите ли вы верхом, и он сказал, что вы ездите на казацком седле...

– Благодарю вас; мне и так хорошо.

– Доктора ездить не умеют, – заметил капитан, – у нас был лекарь, когда мы стояли в Каменец-Подольской губернии. Боже ты мой! Что за смех, как носит это его в треуголке лошадь по полю...

– Нечего смеяться так, – с упреком сказал Федя, – у вас в Каменец-Подольской губернии все вздор, капитан, случается. Зачем смеяться! Вы вот сами не умеете ездить верхом, а над другими смеетесь...

– Не люблю я докторов-живодеров, – возразил капитан, но Федя уже успел умчаться вперед с другим, и вместо него вступилась Анна Петровна.

– Вы, пожалуйста, капитан, этот разговор оставьте. Не знаю, кто больше живодер: доктор, который здоровью пользу делает, или кто своего слугу колотит, как вы своего Каетана бедного...

– Эх, Анна Петровна, Анна Петровна! Вы опять меня обижаете. Вот дайте только от передних отстать. Я так припущу – держитесь только. Вот и доктор близко; коли ушибу – вылечит.

– Уж вы, пожалуйста, капитан, ваше балагурство оставьте. Прошу вас ехать, как надо, а не то я сойду! – сказала Анна Петровна.

– Вот, доктор, горе мне какое, – продолжал капитан, – мне не дают и побаловать; а Милькееву вон какое счастье. Анна Петровна на него не рассердилась, как он ее нарочно вывалил намедни. Живут же люди со счастьем с таким!

– Напрасно вы думаете, что г. Милькеев вывалил меня нарочно. Василий Николаич так учтив, что он никогда этого не сделает. Вам бы еще надо у него вежливости поучиться!

– Нашли вежливость! Кричит с детьми на весь дом, глотку дерет. А как уж это он бабам потрафить мастер!

– Вы, капитан, в хорошем обществе не бывали, – гордо возразила Анна Петровна, – кроме резервов ваших ничего не видали. Если графиня согласна, чтобы молодой человек кричал во время игры с детьми, так не нам с вами осуждать его. А вот бабами женщин он называть не станет, как вы!

– Вы, Василий Владимирович, – продолжала нянюшка, обращаясь к Рудневу, – не верьте капитану; это в его словах одна злоба говорит. Ему обидно, что у него Олю отняли; однако, посудите сами: разве могла Оля век у них одной арифметике учиться да священной истории? Она должна получить настоящее воспитание, которое г. Милькеев в состоянии ей дать. А г. Милькеев так вежлив и так добр, что он Феде никогда не позволяет крестьянским мальчикам так головою кивать, а непременно снять фуражечку... Он – прекрасный молодой человек, и вся вина его в том, что он не богат. А сам по себе он во всяком обществе годится. Хоть ко двору!

– Ну, уж ко двору-то его разве печки топить пустят, – прервал капитан. – Зазнался, забыл, как в оборванной шинелишке сюда пришел!

Анна Петровна пожала плечами.

– Уж о дворе вы не судите, капитан, прошу вас, при мне! Я двор-то знаю, капитан, позвольте мне судить об нем не по-вашему. Я двор знаю! И за границей была; когда я ехала с графиней на пароходе из Чивитта-Веккии, с нами ехал итальянский граф, граф Карниоли. Вот точно смотрю я теперь на Милькеева – борода черная, взгляд... Только Милькеев ростом еще повыше того будет.

– Как вы его, Василий Владимирович, находите?

– Да, он собой очень хорош! – отвечал Руднев. Капитан на это не возразил и молча гнал лошадь. Анна Петровна тоже не продолжала спора, и Руднев незаметно погрузился снова в

себя. Обрадованный тем, что его не трогают, он с участием следил за комками земли, которые, отрываясь от колеса, летели мимо него на дорогу, думал о центробежной силе, озирали широкие поля, всматривался в толпу наездников, которые, чернеясь вдали, ехали почти все шагом под знойным небом, и скоро стал радоваться, что решился ехать.

Прошло так около двух часов... Проехали несколько рощей, спускались с гор и поднимались на них, миновали несколько знакомых деревень. Капитан с Анной Петровной уже помирились и дружески толковали о том, где больше белых грибов – в Сосновке или Солодовке, а Руднев все радовался своей свободе. Кавалькады не было видно: она скрылась за большим спуском. И он даже пожалел, что капитан так отстал, потому что все лица эти: Катерина Николаевна, Милькеев, Nelly, предводитель и француз с немецкой фамилией, начинали занимать его с ученой точки зрения.

«У Катерины Николаевны, – думал он, – нос горбатый, римский, вообще слишком резкий и крупный для женщины профиль; у Милькеева нос тоже велик, но мягче абрисами и грубее общей формой. Оба брюнеты. Он моложе, она старше; он беден, она богата; оба, вероятно, дворянской крови (я ведь не виноват, что для антропологии этот момент важен); оба очень велики ростом; оба, говорят, умны. Но у нее глаза карие, уже несвежие, но беглые и блестящие; а у него серые, большие и томные, как у младшей девочки, Оли; только у Милькеева как будто добрее, чем у этой Оли. У него, кажется, голова шире, чем у нее и т. д. Что из этого всего выйдет? Как применить эти примеры к тому вопросу, который предлагает Карус своим сочинением о «Символистике человеческой наружности»? У кого из них больше воли, ума – интересно было бы узнать! Только бы они не приставали; ведь они самые подвижные из всего общества; ну, как они больше других ко мне будут обращаться и из довольного своей судьбой зрителя обратят меня в действующее лицо? Счастливы зоолог и ботаник: они рвут цветы и режут животных, не рискуя утратить научное спокойствие в вихре тех проклятых ощущений, которые испытывает человек как член общества!» Но размышления его были вдруг прерваны голосом капитана: – Эва! Федя наш как жарит к нам навстречу!..

– Уж не случилось ли чего? – воскликнула с испугом Анна Петровна.

Федя уже был близко.

– Скорее, Матвей Иванович, скорее! – кричал он. – Маша упала... Доктор, Маша ушиблась...

Капитан помчался. Маша сидела на траве. Она была бледна; мать, еще бледнее, поддерживала ее сзади; другие молча толпились кругом, только изредка перешептываясь: – Вот, очень нужно! Кто ж пускает ребенка на старой лошади?... Долго ли!.. Старая лошадь хуже бойкой! Споткнуться недолго... Она ничего не видит...

– Видит! видит – это случай!

Лошадь Маши была велика и очень красива, и отлично выезжена по-манежному; но она точно была уже немолода, и глаза ее были немного испорчены. Маша ее очень любила, потому что Бэла умела даже играть как-то правильно, красиво и покойно, а галопом ходила отлично. Маша хотела перескочить через канавку, Бэла споткнулась, и все успели только с ужасом увидеть, как огромная лошадь всей тяжестью перевалилась как-то через Машу.

Руднев осмотрел «барышню» и расспросил ее; Маша божилась, что ей нигде не больно и что она просит «только оставить ее в покое». Послали гонца за коляской, усадили туда больную и с нею молодого и смущенного доктора.

– Тебе не больно? Тебе не больно нигде? – спрашивала мать. – Послушай, ты, как почувствуешь, сейчас скажи... А? Скажешь?

– Скажу, мама, скажу... Ты ступай себе...

– Нет, ты, Маша, хорошенько подумай, где тебе больно... и скажи...

– Уж как будет больно, так и без думы услышит, – заметил предводитель. – Трогайтесь, что ли... Лучше на место скорей...

– Нет, вы ступайте, а я около нее останусь, – отвечала мать.

Но Маша и слышать этого не хотела и сказала: если к ней будут приставать, так она заплачет.

Катерина Николаевна сказала, что до той рощи, где был назначен первый привал, ехать нельзя, а надо будет остановиться в большом селе; до него оставалось еще верст пять или шесть, и поезд тронулся.

Сначала доктор молча и сбоку поглядывал на свою милую и бледную соседку; потом решился спросить у нее: – Что вы чувствуете?

– Теперь что-то рука стала сильнее болеть... А больше ничего.

Ее молчание и бледность пугали его; несмотря на все успокоения, которые могла доставить ему физиология – сердце все спрашивало... «Ну, если что-нибудь не так? Ну, а если! Такая нежная!.. и вдруг такая лошадь!..» – Нет, вам ничего теперь... – угрюмо твердил он.

– Какой вы смешной, Василий Владимірыч; совсем на доктора не похожи... такой молодой... – отвечала Маша и, улыбнувшись, начала его рассматривать прямо в лицо, кусая ногти...

– Все доктора сначала бывают молодые; а вы все старых знаете... Вас не отучают от этой привычки кусать пальцы? – прибавил он не без искусственной строгости...

– Мама обещает квасцами или чем-нибудь еще хуже намазать руки... А Вася Милькеев бьет линейкой, когда нет мамки тут. При ней не смеет.

– А что же она ему?

– Мамка сейчас: *point de violence*! Это у нее такая фраза всегда. Ах мамка, мамка!.. Где-то она едет?..

– Вот она близко, вот мама... вот она... смотрите... вам ворочаться не больно?

– Что это – все вздор! Мы с Васей Милькеевым вдвоем ездили на прошлой неделе в лес, так я распустила подпругу, а после дурно подтянула; а Вася не заметил, я и упала вниз головой, только в песок – не ушиблась. Вот они, вот они, все стоят под горой, ждут нас. Василий Владимірыч, вот Вася, вот мама, вот Nelly.

Федя уж скакал навстречу коляске.

– Тише, тише, Трофим Павлыч, – заботливо распоряжался он, обращаясь к кучеру... – больная, знаете...

Скоро радостная толпа окружила коляску; все увидали, что Маша улыбается и что доктор покоен, посмеялись с минуту и поскакали на гору, вперегонки. Только Федя остался у коляски; он взялся быть вплоть до ночлега курьером при сестре и через каждые четверть часа догонять всадников, извещая об ее положении. Он очень скоро познакомился с Рудневым и рассказывал все, что попало.

Ласковое лицо его с ямками на щеках беспрестанно улыбалось, заглядывая на сестру, которая, кротко вздыхая, повторяла, покачивая головой: – Ах ты Федя, Федя! Чудак ты, Федя!

– Такой уж идиот, – заметил Федя сам про себя и продолжал без остановки. – Я, доктор, идиот. Это меня прошлый вторник... нет в среду... да еще поддиктовка была... Вы знаете, что такое поддиктовка? Какие сестра моя ошибки делает до сих пор «под диктовку». Что это такое, скажите? Смыслу нет вовсе! Кто идиот после этого – она или я?!

– А кто вас идиотом зовет?.. вы сказали...

– Вот m. Баумгартен... наш... Как вам сказать, он человек добрый... сопрел только маленько... Потлив... Очень неприятные у него руки... «Капли холодного пота выступают!..» Это он в классе на нас кричит: будто у него от нашей лени пот выступает. А уж у него природа, норов такой – мокрота! И вдруг, как завертится, затопчет – страсть! Вот Ваську Милькеева мы не боимся... Сначала так жутко, боязно маленько было. Воззри в леса на бегемота, что мною сотворил с тобой! А мы, знаете – лягушки, просящие царя... Видим чурбан, такое страшилище... и боимся. А после... Сначала такой суровый... А потом, вышел в сад и говорит: «Дети, хотите со мною играть?» Мы его за ноги да на сено и свалили! С тех пор ладно живем.

Вот барышня, это первый друг – невеста Васиньки нашего, Мария – невеста с объединенными ногтями... Самоедка! Сама себя ест...

– Федя, полно болтать глупости, – сказала Маша, – у меня голова уж закружилась...

– Эх... Трофим Павлыч, – продолжал он, обращаясь к кучеру, – Трофим Павлыч. Что, как Лукаша ваша поживает?.. (И, не дожидаясь ответа, Федя обратился к Рудневу). Это – сестра Трофима Павлыча, знакомая мне кухарка... Я люблю к ней летом на сушила ходить... Летом я учусь скверно... Вот Мосенька... Винокура Исаака знаете? Его Мосенька... Сердце, злой тиран, тиран... Он поет эту песню... Так тот и летом и зимой всегда прилежен...

Маша смеялась до слез, слушая брата.

– Что это он говорит? Я половину не понял, – спросил ее Руднев с удивлением.

– Он всегда так, – отвечала усталым от смеха голосом Маша.

Но Федя уже был далеко: он поскакал повестить, что дела идут отлично.

– Барышня смеется, – сказал он матери.

Уже было часов восемь вечера, когда приехали в большое село; ночевать остановились у одной богатой раскольницы, которая за табак не сердилась, и по старому знакомству, и потому, что хату внаймы отдавала новую, а не ту, в которой сама жила. Вся деревня сбежалась смотреть на троицких господ; многие давно знали Катерину Николаевну и говорили с ней, и Руднев мимоходом слышал, как хозяйка сказала громко при всех: – Э! Уж тебя-то, матушка, никто не боится. Ты уж дюже проста.

IV

Катерина Николаевна и за ней все пошли в избу, тогда со всех сторон кругом Руднева поднялся такой крик, смех и шум, что он уже ничего не мог разобрать. Бабы смеялись и толкали друг друга с крыльца; дети плакали, дрались и хохотали; собаки лаяли; из избы слышались голоса: то хриплый бас предводителя: – Милькеев, а Милькеев! Эстетик Паша! Ваше изящество! а, ваше изящество! Поди сюда... Что говорят-то здесь про тебя!

– Что вам?.. Некогда... Потом вдруг тихо женский голос: – Доктор-то лучше!

– Неправда, не лучше!.. Как можно, у него черты лица гораздо красивее ваших... Вот горе-то! Васька! У-у! Васька! – кричали дети.

– Нос очень красивый... – говорила опять Новосильская, – а глаза-то!.. Вот горе-то! Что делать теперь?..

Потом взрыв хохота, а вслед за этим Милькеева дети вытолкали в спину на крыльцо и сами бросились за ним с криком: – На реку!.. на реку играть!

За ними вышли Nelly и Баумгартен. Звали и доктора, но Руднев поблагодарил и остался на крыльце.

Бабы деревенские и дети разошлись скоро, потому что коровы и овцы вернулись с поля. Тогда Руднев закурил сигару и с большой радостью отдался опять размышлениям о том, какие это люди окружают его и какую пользу можно будет извлечь из этого тяжелого для него путешествия. Не определит ли он наконец какие-нибудь психологические или физиологические черты...

«Главное, все они ничуть не конфузятся и никого не стыдятся... Это неестественно... особенно в этом Милькееве. Что ему за охота как будто шута и балагура перед этой знатью разыгрывать», – думал Руднев, слегка и невольно прислушиваясь к разговору, который велся в избе между Катериной Николаевной и предводителем.

– Отчего он не приехал, скажите по правде? – спрашивает она.

– Опять то же! Помочь была! Ну, знаете!..

– Неужели до сих пор?..

Потом опять стихло, и слышался только шопот: – Вот уже пять месяцев не пил – с тех пор, как вы ему говорили, – начал опять предводитель, – а вот теперь опять...

– Мы всегда видим только падение, – возразила она, – а не хотим и знать про борьбу, которая была перед этим падением. Вот это несправедливо...

– Вам издали лучше, – отозвался предводитель. «Вот какую славную вещь сказала, – подумал Руднев, – не ожидал я от нее... Эх! опять стихло!..» – Если Самбикин будет завтра, так и он будет, – сказал опять предводитель.

Катерина Николаевна засмеялась.

– Меня радует, что он боится показаться после кутежа... Это обещает... Не правда ли – это обещает?

– Обещает ли или нет, – возразил предводитель, – не в этом беда: женить бы его надо! – и, понизив голос, он продолжал: – У Павла Шемахаева живмя живет. Сестра есть... Тут уже Руднев не слышал ничего, кроме возгласа «лихая!», и когда Николай Лихачев спросил опять погромче: «А Милькеев около Nelly вашей все еще выпускает крыло?» – Руднев сошел с крыльца, не желая быть нескромным поневоле и услышать какие-нибудь тайны.

Ему вздумалось пойти на реку, посмотреть на игры детей и молодежи. Но навстречу из-за угла показался Баумгартен. Лицо его было мрачно, руки скрещены на груди. Он сел на скамью и тотчас же обратился к Рудневу сперва по-русски: – Вы один сидите, docteur?

– Один, m-r Баумгартен.

– Скучно, docteur, очень скучно.

– Вам или мне?..

– И вам и мне: nous sommes toujours seuls... Мы оба с вами парии, я вижу, – продолжал он по-французски (он говорил медленно, и Руднев с небольшим трудом мог понимать его)... – Да, признаюсь, эта русская жизнь убийственна! Она механизмирует человека. Sa me mécanise horriblement! Скучно... скучно... Вам и мне скучно, доктор.

– Я не скучаю; я общества не люблю, m-r Баумгартен.

– Вы не любите, может быть. Я француз, хотя родился в Альзасе, а уже давно сказано, что французы самый общительный народ в Мiре. Когда я жил в Nancy и Celestà, меня все звали ami Josephe или ami Bongars – ибо французы не могут выговорить – Баумгартен... Я был очень занимательный собеседник. Les parties de campagne, кости, шахматы, кофе; надо было видеть, как я выходил в длинном платье на кафедру и читал историю Франции. У нас министром определено все до малейшей подробности в преподавании. Взглянув на часы в Париже, он может знать, что в эту минуту читается во всех департаментах; однако, несмотря на это строгое единство, я умел придать занимательность и жизнь своим лекциям. Работа кончена, и начинаются развлечения. Voyez vous... Un travail noble, une aisance honnête, l'estime des amis, l'amour des femmes, docteur! J'étais la coqueluche des dames, docteur!

– Позвольте, я этого не понял, monsieur Баумгартен, мне показалось – коклюш...

– Oui, да, коклюш... коклюш... У нас так говорят – коклюш... Coqueluche des dames... j'étais la coqueluche des dames. У нашего мэра была дочь; мы с ней гуляли в саду, обнимались, лежали на траве... Конечно, это нескромно с ее стороны... Но она была очень умна; elle était bonne comme un ange et spirituelle comme un démon...

– Отчего вы не женились на ней?

– Согласитесь сами, что за охота жениться на женщине, которая гуляет со мной одна, до брака, в рощах?! цалуется... Вас берет сомнение... Не так ли? А здесь! Je m'abrutis!.. Вот уже год, как живу здесь, и не имею никакого сочувствия, даже сострадания не вижу... La comtesse, конечно, женщина добрая... Но в ней так много laisser-aller russe!.. А для меня долг выше всего... Дети тоже. C'est une éducation manquée... Сначала я хотел водить их гулять с собою и вести с ними, при случае, поучительный разговор... Что может быть лучше ille tollit punctum, qui mismit utile dulci! У нас делают так, когда хотят дать правильное воспитание детям. Ребенок срывает цветок, я останавливаю его и спрашиваю: «Что это?» Ребенок отвечает: «C'est une rosé». «Qu'est ce qu'une rosé, mon enfant?.. Какого растительного семейства? Куда употребляется?» Ребенок смотрит во время вечерней прогулки на звезды. Я останавливаю его и говорю ему: «Cher enfant, созвездие это называется, положим, так или иначе!.. около одного из светил, составляющих это блестящее созвездие... (я говорю, нарочно, заметьте, блестящее, чтобы поразить его воображение) обращается наше солнце. Громадное расстояние ничто для великого Творца... etc... etc». Прибавьте к этому исторические анекдоты, полезные игры, и вы получите стройное воспитание, в котором затрогиваются три главные элемента духа: разум (l'intelligence), чувство (le sentiment), воля (la volonté). Но здесь это невозможно... Дети убегают от меня, как от заразы. Они не злы; но Федя груб и почти идиот; Оля упряма, и хотя очень умна, но только в классе; кончились классы, она предпочитает скакать на настоящей лошади или бегать с братьями на палочке... или играть в куклы с miss Nelly. Marie, Marie рассеяна et pleine de ce laisser-alier...

– Отчего же вы не обратите внимание матери?

– Мать! Мать! Мать скачет впереди верхом с г. Милькеевым или читает с ним Pouchkin et Tourgeneff. Elle le porte sur ces ailes... Я не хочу предполагать ничего дурного... Но он завладел всем домом... Он – оракул здесь. Он умен, добр, благороден, хорош собою, учен... Но, по моему мнению, это – человек ничтожный. Я стараюсь отдать себе отчет, чем он мог их пленить. Дети любят его рассказы; игры, которые он выдумывает, им нравятся... Miss Nelly est folle de lui... Laissez-nous donc vivre – вот его любимые слова!.. Но я сам жить не прочь. Я сам много

жил; но у меня был час на все. Но здесь в России я не тот: я убит, я пария, я педант... И это потому, что я не эгоист; у меня есть характер, крепкая воля. Я ставлю долг и мелкие услуги другим выше всего. Я холоден, но это потому, что я тружусь; я не ласков, но это потому, что я стал недоверчив и скрытен; но я не эгоист. М-г Милькеев хвалит эгоизм... Он говорит, что «мораль есть ресурс людей бездарных!» Miss Nelly рада и смеется. Она квиэтистка – последовательница Кальвина... она рада предать все течению, и в этом случае его материализм совпадает с ее верой в провидение.

– Кажется, ужин в избе подан, – сказал утомленный этой вялой речью Руднев. Не пойдем ли и мы туда?

Ужинали долго, при свечах; шум и спор были ужасные... Рядом с Рудневым сидела Оля, а напротив ее Милькеев, и они городили такой вздор друг другу через стол, остряли так бессмысленно и хохотали так громко при одном взгляде друг на друга, что доктору оставалось только удивляться, каким это средством дошел Милькеев до такой веселости, которая мыслящему московскому студенту совсем нейдет, а как будто искренна!

V

Ночевать Рудневу пришлось вдвоем с предводителем в избе. Милькееву, Баумгартену и Феде постлали на чердаке в сенях, а всем женщинам и девочкам был приготовлен ночлег в просторном сарае.

– Мужчины еще подождут там у старухи, – сказала Катерина Николаевна.

Руднев тотчас же лег; а предводитель долго ходил по избе, разглаживая и взъерошивая бороду и усы.

– Я вам не мешаю? – спросил он наконец.

– Нет, – отвечал Руднев... – Ничего пока.

– Пока! И то правда, что спать пора... А что, вы будете служить? – спросил он сурово.

– Места нет теперь.

– Теперь-то нет, я знаю; а взяли, если б было?..

– Какое же?

– Ну, хоть окружного врача?

– Разве есть?

– Зон уезжает. Хотите, я похлопочу. Ведь разве легче так жить?..

С этими словами предводитель сел у стола и пристально, с участием посмотрел на молодого человека.

– Вам бы надо в Троицкое поступить. У Руднева занялся дух.

– Что вы? У вас лицо изменилось?..

– Нет, ничего, я слушаю... Ничего мне!

– Я говорю, вам бы надо в Троицкое врачом. Окружным будете 300 получать, да здесь 600–700, вот и жить можно... Что-с?

– Я бы не желал служить в Троицком, – отвечал через силу Руднев...

– Это отчего?

– Не могу вам сказать... Тут слишком много причин...

– Как хотите. А кажется, отчего бы это не служить... Катерина Николаевна – женщина добрая и умная. Дом славный; семья славная. Чего бы вам лучше? Вы – человек образованный, должно быть, деятельный, будете полезны. Доктор В. стар и давно бы отказался, да некому его заменить... Катерина Николаевна просит остаться.

– Поговоримте после. Я подумаю, – отвечал Руднев, стараясь отклонить разговор. В Троицкое он решил заранее не поступать; а потому ему гораздо интереснее было бы расспросить предводителя о Милькееве... Обдумывая раз десять свой будущий вопрос, он наконец было начал; но остановился вовремя и шумно повернулся к стене, желая еще раз напомнить, что давно спать пора. Предводитель это понял.

На рассвете разбудил его опять страшный шум... Изба была полна новыми лицами. Младший брат Лихачева тут, еще какой-то военный брюнет, огромный рост Милькеева, очки Баумгартена, предводитель, Федя... на стол дворецкий ставит самовар, стелет скатерть, и мимо окон ведут оседланных лошадей... Утро ослепительное, чистое... Лица все веселые... «Как спали? Как вы спали... Ели ли вас мухи?» Доктор благодарил всех и сконфуженный, что его застали таким заспанным и растрепанным, спешил на крыльцо. Федя прибежал туда, настоял, чтобы он позволил подать себе умыться, и рассказал ему, подавая, что «этот в поддевке с белокурой бородой – брат предводителя, а тот, военный брюнет – князь Самбикин. Этот князь Самбикин привез, кажется, письмо от нашего папа... Вы знаете, у нас есть папа... Он служит на Кавказе... А Лихачева Александра Николаича вы, кажется, знаете? Вася говорит, что он на чемодановского целовальника похож... Он очень храбрый – Александр Николаич на Дунае

сражался, в Молдавии и Валахии был... Раз Васька сказал вместо Молдавия и Валахия – Малахия и Волдахия... Лихачев как над ним долго смеялся: ужас! Они – друзья».

– Друзья? – спросил Руднев, вытирая лицо.

– Друзья. Ведь Ваську Лихачев к нам привез, Вася очень беден был тогда... Пешком тридцать верст пришел к нам, последние...

– Вот как! Расскажите-ка...

– Theodor, – закричал из избы Баумгартен. – Не заставляйте вас ждать! Пейте чай... Мама сейчас на лошадь садится...

В самом деле, молодые люди едва успели проглотить стакана по два, как уже прибежал толстяк дворецкий и объявил, что Катерина Николаевна сейчас садятся и все барышни...

Все кинулись к дверям. Федя ухватился за полу Руднева и стал умолять его сесть на Стрелку.

– Седло казацкое, мягкое... Лошадка смирная... Не бойтесь, я вас на чумбуре поведу...

Баумгартен так был озабочен сам своею «Grise» (по-русски Крыса), что не мог остановить Федю. Федя умолял так настойчиво и ласково, утро было такое свежее, и Стрелка в самом деле казалась такая гладенькая и добрая, что Руднев решился на нее сесть, не делая больше никакого затруднения, и, чтобы стать выше собственного самолюбия, позволил даже Феде вести себя при всех на чумбуре.

Восторг Федин был страшный.

Он всем кричал: – Я, Васька, на чумбуре доктора... Я на чумбуре, мама, доктора поведу...

– Доктор вовсе этого не желает, – сказала мать. – Вы не слишком ему поддавайтесь – он надоедает ужасно, – сказала она. – Оставь-ка лучше.

Федя молча опустил чумбур, и слезы полились у него градом по щекам.

Все засмеялись, но Руднев поспешил вручить ему чумбур, и Федя, улыбаясь, как солнце сквозь дождик, скромно и стыдливо поехал с ним рядом.

Все общество двинулось из деревни по росистым полям. Впереди ехали Катерина Николаевна с князем Самбикиным, за ними две девочки с берейтором; за берейтором Nelly и Милькеев, потом предводитель с Баумгартеном. Сзади всех остались Федя с Рудневым и молодой Лихачов. Он был тоже в Московском университете и скоро разговорился с Рудневым.

– Вы когда кончили курс? – спросил Руднев.

– Я? Я курса не кончил. Я только год или два был всего...

– Что же так?

– Надоело мне, по правде сказать. Грановского слушал, Кудрявцева иногда... А вообще-то я не очень люблю всю эту работу, я люблю вот деревню. Ну, и бросил. Сухая материя – эта юриспруденция. Я больше все на бильярде.

Мало-помалу разговор перешел на семью Новосильских и Милькеева, и Рудневу удалось наконец толком добиться от него, что это за Милькеев, кто он и как он сюда попал.

– Он очень способный малый, – сказал небрежно Лихачов, – только чудак ужасный, помещан всегда на разных правилах – правилами живет... Я его давно знаю.

– Неужели он все делает по заказу или напоказ?

– То есть, не то что напоказ. А он, как сам выражается, дорожит «самым фактом красоты», он будет один на необитаемом острове – так и там то же... «Поэзия есть высший долг... Исполняют же люди долг честности, а я исполняю долг жизненной полноты». Вот этикие вещи, и за них он готов на виселицу... Очень добр, впрочем... Вообще, отличный малый... Будете вы нынешнюю осень ездить с собаками?

– Не знаю, право, Александр Николаич; Ерза околела, и дядя забросил псарню... хотелось бы обзавестись...

– Я могу вам с удовольствием предложить двух щенков от Лётки... заезжайте ко мне – выберете сами... Интересная помесь вышла от Крымки и Густопсового!..

– Благодарю вас... А Милькеев охотится?

– Куда ему!.. Он все с каким-то насосом ходит, из барышень поэзию выкачивать. Это – одна из его специальностей. Уже очень влюбчив и снисходителен.

– А что это я слышал – он к вам пешком пришел весной?

Лихачев махнул рукой и засмеялся.

– Этих штук сколько угодно! Потом продолжал серьезно: – У его отца славное именище, душ в двести. Бросил все это, перессорился с братом и сестрой. Душно ему с ними: атмосферу, говорит, сгущают. Он ходил в ополчение, но, благодаря австрийцам, дальше Киева не пошел. Влюблен был там разом в трех: в еврейку, в помещицу и в хохлушку – Оксану. Он, я думаю, нарочно их отыскал и привел в порядок... Потом приехал домой к отцу готовиться на магистра... Вдруг, Бог знает почему, поссорился с родными, и в марте, в самую распутицу, поехал к нам; денег у него было мало и достало только до нашего уездного города, а остальные тридцать верст то пешком, то на обозы садился. Да это еще с ним не раз будет.

– А вы не знаете именно, за что он поссорился с отцом?

– Чорт знает, право! Отец его – капризный и скучный человек... Зять у него хитрый... сестра пустая. Она уже давно ему надоела, но он не хотел с ней прервать, потому что она а la Sand жила с этим зятем, ну, долг, знаете, правила его... Ходил, скучал у них. Отец ее не принимал, другие братья тоже. Как же ему не ходить! А потом, как она вышла замуж и приехала к отцу в деревню, и рассорился.

– Что же ему именно в них не понравилось?

– Да это вы бы у него когда-нибудь расспросили, он расскажет с удовольствием... Впрочем, вот еще что можно сказать, что он из тех людей, которых тонкие ощущения важнее крупных... Найдет у себя искру – и раздует ее, и надо отдать ему справедливость, с энергией идет по своей дороге... Не мог, говорит, видеть, что зять такой худой и чисто выбритый, все цаловал шею сестры; а шея у нее старая; а сестра и кричит на зятя и детски жеманится... За людей потом что-то вышло... Пришел к нам на Страстной и говорит: «Я к вам пришел есть; кормите меня». Рад, как Бог знает что... Хохоchet... Ну, мы все его очень любим... Как нарочно, в Троицком не было в это время учителя, и Катерина Николаевна хотела писать в Москву; мы его и устроили туда. Теперь пишет свою диссертацию.

– О чем она?

– Из государственных наук что-то, что-то вроде «О влиянии учреждений на нравы» – это одну; и другую, на всякий случай, маленькую, уже кажется изготавил, если ту нельзя будет пустить в ход: «О прямых налогах». Эта, кажется, у него тоже готова. Пробовал он мне читать... Да уж очень скучна! На деле все это прекрасно, но в книге...

Когда они поднялись на горку, навстречу им от передовых отделился Милькеев.

Лицо Лихачева повеселело... Милькеев тоже улыбался.

– Ну, что ты? еще не весь сок выжал из британки своей?

– Перестань врать, – отвечал Милькеев с недовольством. – Доктор, вас Катерина Николаевна просила догнать ее на минуту, хочет что-то у вас спросить.

Когда Руднев отъехал от них, Милькеев спросил у Лихачева: – Что он, каков этот Руднев?

– Не знаю, право, душа моя; кажется, обыкновенный студент, и, если не ошибаюсь, довольно скучный и бесцветный. Все выспрашивает... Видно, своего запаса немного... А ты что поделываешь... Не грустишь?

– Нет, не грущу... Каждый день все благодарю тебя и твоего брата, что вы меня в Троицкое определили... Из дому, слава Богу, писем нет. Забыл я об них.

– Это главное, – отвечал Лихачев. – А ты слышал новость – этот несчастный Самбикин привез от мужа Катерины Николаевы письмо и отдал ей сегодня поутру. Просит взять к себе на воспитание сына от француженки, которая была гувернанткой Маши и которую он обольстил.

– Возьмет она или нет? – спросил Милькеев.

– Еще бы не взяла! Такая оказия для нее – праздник. Она теперь поздоровеет на три недели. Поедем-ка к Nelly, ее ami Joseph совсем уж заел скукой!

Пока они говорили, Руднев подъехал к Катерине Николаевне и спросил, что ей угодно.

– Вы, кажется, занимаетесь физиогномикой, – сказала Новосильская, – не можете ли вы по описанию князя узнать, какой характер у ребенка лет восьми?

– Я думаю, – заметил Самбикин вкрадчиво и тихо, – очень трудно узнать, какой характер у ребенка. Дети везде одни, и все от воспитания...

– Этого нельзя сказать, – перебил Руднев сухо. – А какое лицо у этого мальчика?

– Как бы это вам описать? Это трудно! Глаза у него светлые, лицо очень белое, худощавое...

– Нос и рот обыкновенные, примет особых нет, – закончил Руднев. – Так паспорта пишут!

Красивый князь покраснел и застенчиво улыбнулся, а Катерина Николаевна одобритительно взглянула на язвительного мудреца.

– Нет, вы не живописец, – сказала она Самбикину. – Впрочем, вы не беспокойтесь, я обдумаю... Вы говорили что-то об моем муже, когда я позвала доктора?

Руднев, полагая, что он больше не нужен, поспешил отъехать от них, а Катерина Николаевна продолжала: – Вы не стесняйтесь – говорите мне все...

– Граф очень грустил все это время после смерти Clémentine, – отвечал Самбикин, – и ампутированная нога его иногда страшно болит в рубце. Мне, право, так его жаль! Граф – такой милый, такой добрый, и судьба бедного Юши его сильно озабочивает.

– Успокойте его поскорее, что я не прочь и подумаю. Денег на воспитание мне не нужно. Пусть лучше те пять тысяч, которые остались от матери, пришлет, я их спрячу для Юши, а он все промотает...

– Вы слишком строги к бедному графу, – с вялой любезностью отвечал Самбикин.

VI

В старой липовой роще, на горке, над большим озером, был второй привал. Что за веселая картина!.. Над мирным озером, где все дно было видно – зеленая горка, на горке липы, под липами тень, а по воде и по лугам вокруг нестерпимое солнце... В тени стелют пестрые, бархатистые ковры, готовят большую палатку для ночи, разводят костер для обеда, лошади ржут, и люди шумят, звонят бубенчики, и колокол сзывает к завтраку! Одна забава сменяется другой, отдых – развлечением... Одни ушли за грибами в березовую рощу, которая обогнула все заливы и заливчики озера с боков и спереди; другие лежат на коврах и читают... Кто взял ружье и сел на маленькую лодку, которую привез тотчас седой и согбенный великан-рыбак с того берега... Вот утка вылетела, и слышится уже выстрел молодца-повара... А вот и Лихачов стреляет... Принесли грибы – идут все, и люди, и дети, и взрослые господа за ягодами... Никому не скучно. Пока Катерина Николаевна ходила за грибами и ягодами, уже ей между двумя липами повесили гамак над ковром, и она, как усталая и добрая царица, отдыхала на нем... И Руднева никто не трогает: не только не оскорбляют, но даже и занимать не ищут... Одно нехорошо: как эти молодые люди бранятся между собою и смеются друг над другом без страха и осторожности... Это удивительно!.. А еще удивительнее, что глядя на них, не обидно за них, и будь на их месте, так, кажется, и сам не обиделся бы... а на своем?.. Нет, уж покорно вас благодарю! Давича Лихачов говорил за глаза про Милькеева, что он с насосом ходит за барышнями; но это цветочки, а вот здесь-то ягодки – при всех, при женщинах, при детях, которых Милькеев учит... Подходит к Милькееву мисс Нелли и подает ему букет ягод.

– Закройте глаза скорее, – говорит ей Лихачов, – закройте, это василиск, ведь один взгляд его ужасен... – и не дождавшись, уже своей рукой закрывает глаза Милькееву.

Тот смеется. Катерина Николаевна хохочет.

– Василиск? Что такое василиск?! – кричат дети.

– Василиск, это, как вам сказать, это – гад, такая ящерица...

– Ну, ты сам не знаешь... – говорит Милькеев.

– Бедный, бедный Вася, обидели, – восклицает Федя, с беспокойством глядя Милькееву в глаза, и, кидаясь к нему, целует его...

Сам Лихачев замолчал, тронутый этой неожиданностью, и все общество, молча переглянувшись, улыбается.

– Вы лучше спросите у доктора, что такое василиск... – начал опять Лихачев сюрпризом для Руднева.

– Василиск, – говорит доктор, – это точно, это – ящерица... только, что она взглядом одним поражает и убивает, так это неправда... Это древние греки, кажется, верили...

– Василиск – значит царь по-гречески, – перебивает Баумгартен, – это название дано животному оттого, что у него на голове есть небольшой венец: кажется, так, docteur?

– Да, нарост, – сухо и глядя в сторону отвечает docteur.

– Греки эти были такие изящные! – вздохнув вдруг и кусая ногти, замечает Маша.

И потом тихо, все молчит: люди, озеро и роща! Вдали, вблизи, зелень и пестрые ковры, ржание лошадей и огонь костра...

– А ведь ты в самом деле на того целовальника похож, Лихачев, – начинает теперь уже Милькеев...

Лихачев улыбается и хочет отвечать.

– Только он поделikatнее, поизящнее будет немного.

– Гиппопотам ты этакий!

– Что такое гиппопотам? – спрашивают дети.

– Все равно, что бегемот: большая свинья, которая в Египте, кажется, живет.

– Болван! – отвечает Милькеев.

И все опять хохочут. Дети спорят между собою: как лучше назвать Ваську, бегемотом или василиском.

– Он – Вася, значит, василиск и будет, – решает их спор предводитель.

– Василиск! василиск! Вася, ты – василиск. За обедом опять спор, даже ссора.

– Французская нация любит равенство! – говорит гордо Баумгартен, – за равенство она с радостью отдает жизнь...

– И свободу! – прибавляет предводитель, – а равенство целью никогда не должно быть.

(Руднев, поклонник Руссо, напрягает слух.) – Как так? – с удивлением спрашивает Катерина Николаевна, – равенства не надо... И это вы говорите?

– Я-с. Равенства должно быть настолько, чтобы оно не стесняло свободы и вольной борьбы.

– Я думаю, главное, чтоб не было насилия?... – возразила Катерина Николаевна, – это – главное... Или нет...

– Все условно-с.

– А как же оправдать насилие?..

– Все условно-с. Пожалуй, и не оправдывайте.

– Нет, надо оправдать.

– Оправдайте прекрасным, – говорил Милькеев, – одно оно – верная мерка на все... Потому, что оно само себе цель... Всякая борьба являет опасности, трудности и боль, и тем-то человек и выше других зверей, что он находит удовольствие в борьбе и трудностях... Поход Ксенофонта сам по себе прекрасен, хоть никакой цели не достиг!

У Милькеева заблистали глаза и загорелись щоки; не видел еще Руднев его с таким лицом. Предводитель хотел что-то сказать, но Милькеев уже был в волнении и, откидывая назад свои кудри, продолжал, все больше и больше разгораясь: – Что бояться борьбы и зла?... Нация та велика, в которой добро и зло велико. Дайте и злу и добру свободно расширить крылья, дайте им простор... Не в том дело, поймите, не в том дело, чтобы отеческими заботами предупредить возможность всякого зла... А в том, чтобы усилить творчество добра. Отворяйте ворота: вот вам – создавайте; вольно и смело... Растопчут кого-нибудь в дверях – туда и дорога! Меня – так меня, вас – так вас... Вот что нужно, что было во все великие эпохи. Зла бояться! О, Боже! Да зло на просторе родит добро! Не то нужно, чтобы никто не был ранен, но чтобы были раненому койки, доктор и сестра милосердия... Не в том дело, чтобы никто не был обманут, но в том, чтобы был защитник и судья для обманутого; пусть и обманщик существует, но чтобы он был молодец, да и по-молодецки был бы наказан... Если для того, чтобы на одном конце существовала Корделия, необходима леди Макбет, давайте ее сюда, но избавьте нас от бессилия, сна, равнодушия, пошлости и лавочной осторожности.

– А кровь? – сказала Катерина Николаевна.

– Кровь? – спросил с жаром Милькеев, и опять глаза его заблистали не злобой, а силой и вдохновением. – Кровь? – повторил он, – кровь не мешает небесному добродушию... Вы это все прянишной Фредерики Бремер начитались! Жан д'Арк проливала кровь, а она разве не была добра, как ангел? И что за односторонняя гуманность, доходящая до слезливости, и что такое одно физиологическое существование наше? Оно не стоит ни гроша! Одно столетнее, величественное дерево дороже двух десятков безличных людей; и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры!

Все молчали.

– Вы, дети, Васе не верьте, он на себя выдумывает; он вовсе не такой злой, – сказала наконец с немного натянутой улыбкой Новосильская и, помолчав, прибавила, – он больше многих способен делать добро.

Младшие дети обрадовались и стали кричать: – Васька с носом! Ваську осрамили! Вот тебе, не вяжись с большими в разговоры! Зачем с нами не говоришь?

– Довольно, дети, вы надоели, – не без досады сказал Милькеев. – Видите, Катерина Николавна, и с ними бы свирепым быть не мешало...

– Будьте уверены, – отвечала Новосильская, вспыхнув, – что я не только свирепым, а даже и строгим не позволю вам быть с моими детьми.

– Как вам угодно, – сказал Милькеев мрачно, и обед кончился в молчании.

VII

Тотчас после обеда Милькеев вышел поспешно, спустился к озеру и скрылся в кустах. Дети побежали за ним; но строгий голос Баумгартена удержал младших; только Маша пома-нила Nelly, и та, краснея, догнала ее. Обе они тотчас скрылись в березнике.

– Он, кажется, не шутя сердится? – с беспокойством спросила Катерина Николаевна.

– Еще бы, – отвечал предводитель, – сами же вы его часто удерживаете от излишних шалостей с детьми, чтобы они в классе не забывались... А теперь вот при них как...

– Я думаю, это неприятно, – прибавил молодой Лихачов...

– Вы думаете, он обиделся?..

– Обиделся! – сказал предводитель, – что за слово – обиделся! А просто нейдет так резко говорить при всех, если вы человека уважаете.

– Le prestige aux yeux des enfants est indispensable, madame, – с своей стороны заметил честно Баумгартен (тем более это было честно с его стороны, что Nelly ушла за Милькеевым)...

– Но если бы вы знали, как противно слушать! Что за бесстыдство! – сказала Катерина Николаевна. – Извинять жестокость в каком-нибудь случае, это еще понятно, но оправдывать, обращать в принцип... при детях!

– Он увлекся.

– Нет, это – его всегдашняя манера преувеличивать собственные дурные мысли и без стыда говорить о них...

А сам, ведь знаете, как добр... Он платья до сих пор нового не может сшить оттого, что почти все деньги посылает дворовым на выкуп от отца, с отцом они чрез это поссорились...

– Я этого не знал, – сказал Лихачев.

– Вот видите! Он вдруг рассердился, когда я сказала, что он умеет делать добро... Неосторожно взглянула на него... Я узнала это от Емельяна, а Емельян от почтмейстера... Тогда он и сам рассказал мне подробно все... Как люди пошли против отца и зятя... И теперь вот!.. Это бесстыдно, это грязно... А ведь я его сама ужасно полюбила... Дети, бегите, увидите Васю, скажите, что я хочу у него извинения просить...

Но детям бежать не было нужды: Маша вернулась и сказала, что Вася с Nelly сели в маленькую лодку и поехали к острову, который там, там... в зелени за рощей...

– Он сердится? – еще беспокойнее и пугливее продолжала спрашивать Катерина Николаевна.

– Нет, мама, только грустит... Я вижу, что они стали шептаться с Nelly – я и ушла, чтобы не мешать.

Руднев мельком взглянул на Баумгартена и не ошибся, – лицо француза было красно... «Бедняга, – подумал Руднев, – вот кто мне настоящая-то пара!» – Не угодно ли вам пройтись немного по роще?.. – спросил он его.

Француз с восторгом согласился.

– Вот видите! – начал он тотчас, как только они миновали липовый лесок, – видите... не правду ли я говорил... Это беспокойство г-жи Новосильской, это утешение в лодке, на острове...

И пошел, и пошел!

Между тем Катерина Николаевна продолжала тревожиться. Двадцать раз спрашивала она, суетливо обводя всех глазами: – Ему теперь, я думаю, очень больно! Верно ему теперь грустно? Что он это с Nelly там говорит?.. Пустите, дети, пустите, я пойду. Дайте мне руку, Александр Николаич, встать...

Младший Лихачев помог ей подняться и хотел предложить ей руку, чтоб проводить. Все встали, но она просила всех остаться и поспешила одна к тому берегу, около которого должны

были плыть Nelly и Милькеев. Все видели, как она, забывая свою усталость и послеобеденную лень, шла бодро и быстрыми шагами к березнику и, раздвигая ветки, вошла в самую его чащу...

– Экая добрыня! – заметил предводитель.

Никто не отвечал, только по смуглому лицу князя Самбикина пробежал какой-то луч не то сомнения, не то молчаливого согласия, не то насмешки.

Милькеев и спутница его тихо подвигались на лодке между двумя островками; скоро зелень лозника закрыла от них и пригорок с липами и другие берега. Они сошли на остров и привязали лодку к большому кусту.

– Ведь мы посидим здесь? – спросил он скромно.

– Да, сядем, – отвечала Nelly.

Сели, и Милькеев вздохнул. Nelly казалось, что руки, которыми он расправлял свои волосы, дрожали.

– Вы непокойны еще? – спросила она.

– Все, что вы мне говорили на лодке, правда, может быть, и я это знаю... Ах, да, нет! Разве не ужасно это из-за спора, из-за этой бестактности, которая меня губит... потерять такое место... При всех, при всех. Как это мелко, фу, как противно... Нет, я не могу сидеть, пойдемте...

Nelly тихо засмеялась и, взяв его без церемонии за руку, потянула к земле.

– *Voyons donc!* – сказала она, как милый товарищ, обращая на него синие глаза. – Вы нас не оставите, графиня вас так любит.

Милькеев сел.

– Между двух презрений!.. Презирать себя, если останешься, когда так пристыдили; презирать, если уедешь, потому что не кончил ничего... Ну, что будет, будет! Подождем! Какие, однако, у вас удивительные глаза; я таких глаз, серьезно, ни разу не встречал... Какие они глубокие... нехорошо только, что они всегда ровно глубоки – везде и для всех... Этот доктор говорит, что глаза выражают главную струю, которая пробегает по характеру... Вот у Маши глаза мечтательные, а у вас – любящие. А выходит – это вздор, ваша протестантская строгость не допустит вас ни до одного страстного взгляда. Это видно на бедной жертве вашей – на Баумгартене...

– Ах, Баумгартен! Разве Баумгартена можно любить? Он такой вялый, мокрый такой.

– А, какой славный жест! – воскликнул Милькеев, – такой мокрый, и сжали кулак, как будто выжали тряпку. Бедный Баумгартен! Он ведь вас страшно любит, а вы... Да, я вижу, что и Лютер и все реформаторы приходили напрасно... Женщины несколько не стали гуманнее – напротив, к жестокости кокетства еще прибавилась жестокость неприступности. Потом эта проклятая английская кровь.

– Зачем неприступность? – отвечала, смеясь, Nelly. – Для человека, которого бы я любила, я, вероятно, готова была надеть тысячу глупостей.

– Право! – с удивлением сказал Милькеев. – Вот этакой выходки я от вас не ожидал. Это меня удивляет и... радует! – прибавил он тихо и задумчиво замолчал.

Nelly долго играла сломленной веткой по воде и долго смотрела на тихий и прозрачный пролив, который отделял от них соседний островок.

– Что, это отражение кустов, и зелени, и облаков реально или нет? Правда это, или только так кажется нам? Ведь все там есть у них, – сказала она, указывая на воду.

– Какие однако, вы умеете делать славные вопросы, – отвечал Милькеев, ласково оглядывая ее с ног до головы, – реально ли это? Вы хотите знать? Все реально, все реально! Всякая глупость, всякая фантазия человека реальна, потому что она *есть* или *была* и отслужила своим появлением службу в общем ходе дел. Да ведь и все эти кусты реальны только для наших чувств. А кто их *знает*, что такое они сами! Да и что мы-то сами? Нет, довольно, поедемте, ради Бога, я опять вспомнил... Вставайте, вставайте!

– Пойдите, – сказала Nelly. – Слышите? вас кто-то зовет... Вот, вот... Это голос m-me Новосильской! А-а! как вы рады, какое у вас вдруг стало лицо... А!

В самом деле, с берега еще слышался голос Катерины Николаевны, которая аукалась и звала их.

Молодые люди поспешили сесть в лодку и выехать из пролива. На берегу, около березника, стояла, заслоняя руками глаза от солнца, Катерина Николаевна.

Зоркая Nelly уверяла даже, что видела ее улыбку.

– Она беспрестанно улыбается, и мне сначала это не нравилось, – заметила она.

Но Милькеев поспешно греб, не отвечая ей. Через секунду он уже и сам мог видеть, что Катерина Николаевна улыбается, и так поторопился, что чуть не опрокинул челнок.

– Смотрите, вы мне Nelly еще утопите, – весело сказала Катерина Николаевна, протягивая руку молодой девушке, чтобы ей легче было встать из лодки.

Глаза ее сияли.

Потом, когда смущенный Милькеев привязал лодку, она и ему протянула обе руки и произнесла с такою ласкою и таким беспокойством: «Неужели *мы* поссорились!...», что Милькеев не отвечал ничего и спешил покрыть эти большие и прекрасные руки поцелуями.

Катерина Николаевна смотрела на его кудри, и на ресницах ее навернулись слезы.

Nelly поспешно ушла вперед.

– Вася, Вася, вы ли это? – продолжала Катерина Николаевна.

– При всех, при детях... все же я человек, – говорил Милькеев.

– Я думала, что у вас самолюбие есть только для Широкого, а не для будней...

– Напрасно вы это думали, – отвечал Милькеев. – Напрасно, Катерина Николаевна! Здесь, в этой жизни от покоя и веселости – все мне стало нипочем, а если бы вы знали, сколько огорчений и самоуничтожения в моем прошедшем... Ведь здесь я не тот... не тот. Я сам себя не узнаю. С души поднялось столько здоровых, честных чувств, столько снисходительности, столько... Ну, да, чорт возьми, всего. Однако, все же, поймите, вспомнить старое...

– Ну, ну! не волнуйтесь, Василиск! Все-таки, вы ведь Василиск. Разве вам можно терять к себе доверие, и разве я могу уже разлюбить вас, – уж это кончено!.. Я люблю вас и конечно, – люблю. Сделайте что-нибудь дурное, – я не могу разлюбить вас...

– Я сам вас как в кармане ношу, – отвечал Милькеев. – Я вас никогда не слышу и не чувствую. Я был влюблен, у меня была мать, были, к несчастью, родные, приятели и друзья, пожалуй, но все они чем-нибудь да мешали мне... Та, которую я любил, часто не понимала того, что я говорил ей; надо было ей столько объяснять. Были минуты страшного блаженства, но зато какие ж и муки... Отец, мать, родные? О, Господи! жалость и боль, гнев и жалость, презрение и дружба... Товарищи! (Милькеев махнул рукой.) А вы, вы, поймите, вы – первый человек, с которым нет борьбы, а только удовольствие. Что это такое? Это какая-то прелесть, а не чувство... Ну, так поймите же, каково мне...

– Разве я не знаю всего этого, Милькеев? Я все это знаю... Зачем же такие вещи неблагородные при детях моих говорить, когда вы на них больше всех, даже больше меня имеете влияния, потому что они на вас смотрят почти как на товарища.

– Оставим все это! – сказал Милькеев. – Баронессы вашей еще нет?

– При мне не было; теперь не знаю.

– Терпеть я ее не могу.

Они подошли к остальным спутникам под руку, друзьями, и были встречены улыбками взрослых и криками детей: «Помирились, друзья! Васька и мамка опять друзья!» Оля при этом немного задумалась; потом, не поднимая глаз с земли, громко спросила у матери: – Ты, мамка, за что Васю любишь?

– За то, что он добрый и хороший человек, – отвечала мать.

– А ты, Васька, за что мамку любишь? – продолжала Оля.

– За то, что у нее всегда развязка бывает *a la Berquin*. Ты помнишь, Оля, ту книжку, где добродетель всегда награждена, а порок – наказан?

– Не пронялся, – сказал предводитель.

– Не едет, однако, баронесса, – заметил младший Лихачев. – Уж пора бы, восьмой час, скоро солнце сядет.

Руднев, который, отслужив свою гуманную службу при Баумгартене, приблизился опять к обществу, услышал этот разговор и спросил поскорей, вполголоса, у Феди: – Кого это еще ждут?

– А это, видите, баронесса Рабенштейн, мамкин друг.

– У вас все друзья, кажется! – тихо и не без досады сказал Руднев.

– Да, – продолжал Федя громко, – мамка у нас такой сахар-медович.

– Что ты говоришь там, Федя, про меня доктору?

– Он тебя, мамка, сахаром-медовичем назвал. Николай Николаич всегда тебя так зовет, ты знаешь... – отвечала за брата Оля, сидя на коленях у предводителя и дергая его за бакенбарды.

– Я сказал доктору, что баронесса тебе друг, мама! – объяснил Федя.

– За это стоит назвать вас сахар-медовичем, – заметил Милькеев. – Как можно без разбора всех, как солнце, озарять? Я очень рад, что такие женщины существуют. Но под тем условием, чтобы их к себе на выстрел не подпускали люди другого рода.

– Баба дельная, – возразил предводитель, – таких женщин у нас немного! Вы ее знаете, доктор?

– Нет-с. Как я ее буду знать? – отвечал Руднев, уже взбешенный этим сюрпризом, и пожал даже плечами.

– Она оригинальна в своем роде, – прибавил младший Лихачев. – Она Фихте, говорят, переводит?

– Еще бы! Она так умна и учена! – сказала Катерина Николаевна, – так развита и так практична! Я даже и не понимаю, как можно так жить. Завидую ей. Вот муж-то ее покоен должен быть! У нее все записано на целый день, что делать: сколько поиграть на фортепиано, сколько прочесть, сколько яиц выдать повару. Дом свой как она отделала здесь в деревне! Она сама детей учит.

– У нее разве есть дети? – спросил Милькеев.

– Есть. А что? – отвечал Лихачев... – Не одни ли у нас с тобой мысли? Я сейчас думал, что если бы у меня жена была такая, по табличке, так у нее не было бы детей... Ведь ее мужа нет здесь?

– Нет, он посланником при короле... каком-то германском, я все путаю...

– Ну, Бог с ним, – сказал предводитель, – я тоже все забываю... А видали, Катерина Николаевна, как у нее лицо переменяется, когда горничная или слуга взойдет? Сейчас игривая такая с вами, один миг – и перед вами царственная строгость.

Каково было слышать все это Рудневу? Ко всем этим лицам он уже немного привык, они его мало тревожили... Все почти, по очереди, пробовали заговаривать с ним; всем, кроме Феди и Баумгартена, он отвечал немногосложно и сухо, и все как будто привыкли к нему; ужас его при мысли, что его будут рассматривать или занимать, почти прошел, и хоть не в своей тарелке он был, что ж! – уж полпути проехали. В глазах пестрота, в ушах шумно, многое любопытно и ново для него, и хотя все чуждо, страшно чуждо и холодно, но уже не так долго остается за свою слабость платить ежеминутной дрожью застенчивой души!.. Все это можно вытерпеть дня полтора. Еще чаще заговаривать с Федей, с Олей, с капитаном, с французом... Но эта баронесса, знающая Фихте, посланница, твердая и гордая!.. Это что еще? И что он слышит? Она проведет ночь в палатке с Катериной Николаевной, а завтра утром едет, вместе с ними, и последний отдых у нее в доме?... Нет, этого не будет! Верхом, пешком, на этой маленькой

лодке, а уж он убежит, когда все лягут... Не даст он себя на поругание, не позволит себя свести в чужой дом, где на него будут смотреть как на лакея и где накормят его прекрасным обедом с тем же чувством, с каким накормят бульдога Феди, потому что он прибежал с Новосильскими. Нет, уж на эту-то штуку, чорт возьми, не пойду!..

Вот уж и коляска мчится четверкой в ряд... Маленькая, худощавая посланница выходит из нее и бросается в объятия Катерины Николаевны. Сама точно сделана из фарфора, как те старинные изящные куколки, которые ставились на каминах; белая, нежная, стройная, но что за презрительный очерк губ, еще сильнее, чем у Лихачева; у того хоть борода смягчает эту многозначительную линию. «На! смотри, ты, жалкий плебей. Как там тебя зовут, не знаю!..» И какова гамма взглядов и улыбок? Все оттенки от восторга при встрече с Катериной Николаевной до рассеянности, когда Новосильская представила ей уже озлобленного Руднева... Скажите ради Бога, зачем это – детей расцаловала страстно, предводителю подала руку, улыбнулась и сказала: «А, и вы здесь, Николай Николаич; я очень рада», брату его только улыбнулась и подала руку, и ничего не сказала; Милькееву с достоинством и без улыбки кивнула головой и небрежно заметила: «Вы, кажется, пополнели с того раза». Баумгартену мельком кивнула головой; капитана, который ей кланялся чуть не в пояс, вовсе не заметила; а когда Катерина Николаевна движением руки указала на самого доктора, так ее лицо выразило: а! это еще что такое?

Все смущение Руднева исчезло. Лицо его, ей в ответ, выразило вдруг такое естественное презрение и строгость, что молодой Лихачев шепнул на ухо брату: «Каков доктор-то! Смотрите, как он взглянул на посланницу... Нет! он, должно быть, ничего... Мал золотник, да дорог...» Милькеев, который, до приезда баронессы, сидел на подушке рядом с Катериной Николаевной, прислонясь очень удобно к березе, хотел было уступить ей свое место, но Катерина Николаевна удержала его и, посадив около себя, сказала: – Нет, вы сидите тут около меня, а Надя напротив сядет... У нее спина не болит, а мне ловчее с ней будет так говорить.

И этот легонький эпизод не ускользнул от зрителей... Младший Лихачов предложил доктору пройти и сказал ему: – Не солоно хлебнула! У Катерины Николаевны она долго не будет кобениться... Та как раз ее объездит, и утром завтра отличным шагом и курц-галопом будет идти!.. Пройдемтесь-ка!.. Теперь пойдет сушь, про Вену рассказы, и про Париж, про разную петербургскую дребедень... Пойдемте-ка!

Посланником небес и благодетелем показался Рудневу в эту минуту Лихачов... Ночь располагала к откровенности... Они спустились с горы, и Руднев сказал ему: – Александр Николаич, у меня до вас есть просьба!

– Что такое? Очень рад, – спокойно и любезно отвечал Лихачов.

– Вы старика этого знаете, у которого лодку взяли? Вы с ним охотились.

– Приятели старые, а что вам?

– Мне что?.. Послушайте, я болен, мне дурно очень. Я непременно хочу уехать домой... Ведь от этой деревни до нашей верст тридцать?

– И сорок будет слишком!.. Что вам за охота? Посмотрели бы монастырь в большом лесу. Это интересно в своем роде. Не с религиозной точки зрения, конечно, а так, знаете: луговина большая, ручьи, кресты огромные с распятиями, по берегу ручья бор, подземные ходы, церковь большая и т. д. Ничего! Да и дом баронессы посмотрели бы; тоже недурной. В Троицком хуже, и беднее, и старее все. А у этой куклы порядочный вкус... Гостиная ее светло-зеленым штофом обита, и в самые стены вделаны большие медальоны четырех времен года... Отличные картины, а потолок немного сводом и с верхнего карниза лепной плющ на потолок ползет, и не на белом грунте, заметьте, а на розовом чуть-чуть, точь-в-точь как зимняя зорька, когда встанешь на порошке. Ведь это очень красиво. Посмотрите все это... Может, вам лучше станет к утру. Да уж не стесняйтесь ли вы в чем-нибудь, так скажите. Я скажу Милькееву, и мы все устроим.

– Очень благодарю вас, Александр Николаич. Я верю, что дом хорош, а монастырь еще лучше; только уж, право, не могу... Я, право, нездоров. Как вы думаете, нельзя ли мне на лодке переехать и у старосты этого лошадей нанять?

– Это вам дорого будет стоить. Да и мордва эта ночью едва ли поедет... Лучше утром.

– Нет уж, Александр Николаич, благодарю вас; может быть, старик и свезет; я скажу, что от вас... Вы полагаете, что лодку можно взять?

– Если вы нездоровы, так нечего делать!.. Не хотите ли, я вас провожу... чтобы вы не плутали по озеру... Впрочем, видите тот огонек?

– Нет, я и сам найду, благодарю, Александр Николаич. Вот и лодка.

– Так смотрите же, прямо где огонек дрожит, вот тот, вон! видите?.. Озеро тихо, гребите себе, валяйте прямо, да на старика и прикрикнуть можно. Вы с ним не слишком церемоньтесь... Он плут.

Руднев уже был в лодке, и Лихачов взял ее за борт, чтобы столкнуть своей сильной рукой с береговой мели, но вдруг остановился и сказал: – Захватили ли вы из дома деньги... на задаток? Если старый бедокур не повезет без задатка... Возьмите у меня рубль...

Рудневу и захватывать было нечего из дому... Не хотелось брать, ужасно не хотелось, но долго спорить было еще страшней... Голоса и смех раздавались на горке, колокольчик дворцового уже звал к ужину... Прибегут их искать... Лихачев протянул ему руку с бумажкой, с какой: с рублем, синей или зеленой – и разобрать в темноте нельзя.

– Что делать! Спасибо тебе, добрый Александр Николаич, какой славный малый... Ах, чорт возьми! Чорт возьми, как славно!.. – шептал Руднев, уносясь по сонному озеру все дальше и дальше от праздничной горки. Огонек деревни все ближе, и красные огни костров все меньше. Боже мой! как хорошо на чистом, широком и привольном озере. Молодец Лихачев, да и я молодец... Вот за эту решимость, так и быть, прощу я вчерашнему Рудневу его слабость. Пускай себе темно, и собаки лают... все лучше, чем там!

– Эй, старик, старик! Эй, ребята, эта крайняя хата старика Андриана?

– Эта! кто там?..

– Отвори.

– Да кто? Что за человек?

– Уж не бойтесь, не разбойник, не злодей, а я от Александра Николаича Лихачева к старику.

– А! ну, коли так, иди. Иди, отец мой! от Александра Николаича, иди, милый человек. Отвори ему дверь-то с лучиной... Как бы впотьмах не расшибся... Иди, иди, милый человек.

– Спасибо, спасибо тебе, молодец Лихачов!

При лучине посмотрел Руднев на бумажку и увидел, что она пятирублевая.

Старик, однако, не только сам не повез Руднева ночью, но когда на увещания доктора стал было сдаваться молодой сын его, старик закричал с печи: – Что ты! что ты, скотина! Кто его знает, какой он человек... Ночью... долго ли до худа.

Сын вывел Руднева в сени и с сожалением сказал: – Уж ты лучше ночуй у нас, брат, ты не бойся... Худа от нас не жди, мы – мордва...

– Я не вас боюсь, я боюсь жару в избе, мух, тараканов...

– Экой ты какой... Ночуй... Вот ты нас боишься ночью, а мы тебя...

– Ведь у вас в селе священник есть?.. Проводи меня к нему.

– Как не быть священника! Пойдем, пойдем!

И к священнику постучался беглец в окно, и его испугал сначала, но потом был принят радушно. Отцу Семену самому было всего двадцать пять лет; он был белокур, кроток, и глаза его были совсем голубые. Жена у него, напротив, была большого роста, деревенская, грубая, крикливая, хотя тоже очень молодая. Но, несмотря на все это, отец Семен был свеж, весел и развязен, взял у Руднева папироску и, прохаживаясь перед ним по комнате и потирая руки от

радости, объявил: – Наконец-то наша отсталая Россия проснулась! Все переформировывать хотят! И, право, давно пора!

После полутора суток, проведенных на воздухе и в движении, Рудневу было не до разговоров; но надо было кротно объяснить, откуда он взялся и как ему стало дурно, и почему он не хотел остаться на той стороне озера; надо было слушать жалобы молодого священника на то, что книг трудно доставать и что мордву до сих пор причащаться и исповедываться заставляют чиновники, что у мордвы развито сердце, а разум неразвит; что Катерину Николаевну он знает, что она ему кума, а Александр Николаевич Лихачев – отличный приятель... и пособлял ему не раз работниками, что в такой «сфере», как дом Новосильской, очень приятно бывать... Впрочем, отец Семен обещал завтра рано свезти его на своей лошади и уступил ему свою широкую кровать под чистым ситцевым балдахином.

VIII

Утром отец Семен подкрался взять со стола шляпу, чтобы идти служить раннюю обедню; но, несмотря на всю его осторожность, гость проснулся...

Бедный гость! Оказалось, что матушка больна, что надо ее посмотреть... Крестьяне узнали, что полуночник в самом деле лекарь и лечит; и нашло человек с десять – все молились долго на образ, а потом кланялись низко Рудневу; бедные старухи, у которых волосы росли внутри век и которым нечем было помочь; дети с золотухой и нарывами; пришел один сильный мужик и говорил: «Живот-то, я тебе скажу, когда у меня начал пухнуть... это я прошлой зимой, на торгу, возле церкви шел, сказывали, фершел обронил порошки... одни жолтенькие, а другие серенькие... Я сереньких-то и попытал... Так, Господи, что случилось со мной – блевал, блевал... Да чего! Боров по двору ходил, так вот, при твоей милости сказать негоже, блевотину-то съел, так борова-то ворочало-ворочало по двору, насилиу жив остался, сердечный». Красивая девушка, с прекрасными черными глазами, показывая лишай на щеке, сказала: «Сама собой ничего, а вот рыло-те больно благо!» Все бы это ничего, когда бы было что в руках, а то прописал кой-что, кой-что посоветывал, а другим у себя велел побывать... «Там, голубчики, найдем что-нибудь!» И этим не кончились мытарства, в которых умный юноша почерпнул новое сознание своего бессилия и новые причины одиноких вздохов! Не он один страдал, конечно, но тем хуже для честного сердца... тем хуже, друзья мои... разве есть что-нибудь слаще на свете живого добра, которого плод – конец страданью перед исцелением!.. Не один он, конечно, страдает, давно это известно... ему и всем на свете!.. Но разве легче от этого?

Пока рослая матушка угощала его, на дороге, чаем с баранками, вышел вдруг из соседней комнаты бледный молодой мужчина в очках и с очень светлыми волосами.

– Богоявленский, – рекомендовался он сухо.

– Это двоюродный братец мне, – объяснила матушка... Вот тоже, сердечный, без места...

«Неприятное лицо у этого бедного семинариста», – подумал доктор.

– Вы служили? – спросил он.

– Нет! – гордо и с кривой, язвительной усмешкой отвечал Богоявленский, – и надеюсь – не буду...

– Вы откуда?.. Вы в нашем губернском городе?.. Опять язвительная улыбка.

– Не кончил курс в семинарии, – перебил Богоявленский.

– У них философия книга такая есть, – заметила матушка... – Жалются все, что очень трудно...

– По этому образчику вы можете судить, как ошибался отец Семен, когда сказал вам вчера, что наша отсталая Россия проснулась. Нет, еще ей долго не проснуться... России!..

Бледно-синеватое, недоброе лицо Богоявленского, его кривая улыбка, та неестественно гордая манера поднимать голову, которой страдают многие люди, надевшие очки – все это не могло никому понравиться; но отдаваться подобным тонкостям впечатления Руднев считал неблагоприятным, когда дело шло о несчастном человеке, и несовместным с своею собственной ролью в жизни.

«Неужели Лихачев будет добрее меня? – подумал он. – Нет, это не резон!» – Вы теперь не ищите ли частного места? – спросил он громко.

– И рад бы в рай, да грехи не пускают... куда прикажете за частным местом обратиться? Если бы я имел с чем доехать в столицу, – я бы не думал ни минуты.

– В университет?

– Конечно! Там – литературная деятельность, обмен, люди, есть из чего нужду терпеть... А здесь!.. Везде нужны деньги. Вот видите эту кухню мою, – продолжал он, когда матушка вышла... – На что вам хуже ее... а и то мужа себе купила.

– Мужа купила? отца Семена? – с удивлением спросил Руднев.

– То есть не она, а знаете кто? Мать ее покойница, добрая баба, поехала к куме своей, помещице Авдотье (Андревне) Забелиной, вероятно, вы слышали?.. Смочила платок слезами, объяснила, что не с чем в город ехать, жениха доставать для своей дочери; та, как натура славянская, широкая, отсчитала ей пятнадцать рублей серебром; на них эта старуха съездила да этого белокурого и достала. Мне, конечно, это все равно; но я слышал, как он вчера разглагольствовал здесь, когда вы чуть от сна на ногах держались; не люблю лжи! Вот как его на днях дьячок отделал, – этого не рассказал...

Заметив беспокойство и грусть на лице собеседника, Богоявленский продолжал: – А что! не сладко! не то, что в той «сфере», на горке?.. Да, то одна сфера, а это – другая!.. Большое разъединение сословий!.. Вчера славно было смотреть отсюда, как огоньки костров краснелись сквозь деревья... Решительно неподражаемо. Между мужиками произошел фурор... Именно другая сфера, другой мир, как звезды!.. Ха-ха-ха! не правда ли? Или вы придерживаетесь мнения Гегеля, что «звезды просто – прыщи на лице неба» и что выше человека нет создания во вселенной?

– Я Гегеля не читал, – скромно отвечал Руднев. – Но позвольте мне поискать вам что-нибудь, через кого-нибудь здесь в окрестности... хоть через дядю... или через Лихачевых... Ведь как же так жить?

– Ищите! Это дело доброе будет с вашей стороны. И спасибо вам; я с этой мыслью и вышел к вам... да вот вы сами начали. Спасибо; только добра-то нет ведь в сущности, а все эгоизм; ведь и вы для меня сделаете для того, чтобы рисоваться перед самим собою.

Еще испытанье! Вот встреча! И опять бессилие! Руку-то есть охота протянуть озлобленному страдальцу, да где сила, где опора?.. О! дядя! велемудрый дядя! Нет, ты в самом деле мудрец, и хорошие книги должны быть: «Феатр света» и «Памятник Веры».

На крыльцо явился вчерашний дед и хотел теперь везти доктора всего за два рубля, но Руднев возвысил голос и скрипнул зубами.

– Довольно, ступай прочь! – сказал он деду, подходя к поповской тележке, на которую сама матушка постлала ковер.

– Батюшка, Василий Владимірыч, – сказала она ему, провожая его по двору, – постарайтесь для Алеши нашего местечко-то у господ у каких. Убивается, бедняга, страх! У них ведь дома семья большая; а батюшка их человек старый, да и хмельной. Такую войну на Пасхе подымет, беда... Сынку-то и больно. Постарайтесь, батюшка!

IX

На горке побег Руднева нельзя было скрыть надолго; Катерина Николаевна скоро заметила, что его нет, и стала спрашивать о нем. Лихачев сказал, что молодой доктор занемог и уехал.

– Что с ним? Где ж он? Может быть, ему нужна помощь? – спросила баронесса.

– Нет, не тревожьтесь, – отвечал Лихачов, – эта болезнь, кажется, душевная. Он очень бодро переехал на лодке на тот берег.

– Что это такое – спросили все друг друга.

– Не установился, должно быть, – сказал Лихачов. Иным поступок Руднева понравился; другие нашли его странным. Князь Самбикин сказал, что это не совсем вежливо; предводитель, – что это не беда; Баумгартен, – что оно очень таинственно и сообразно с теми претензиями, которые имеют русские, быть теперь самой поэтической нацией в мире; Милькеев предложил ему, по этому поводу, написать роман из русской жизни, в котором бы героем был «*le fils d'un boyard et d'une serve*»! Дети хотели послать за Рудневым, забывая, что в объезд по берегу, до той деревни, насчитывалось верст шесть; но Катерина Николаевна покончила все эти разговоры и споры тем, что пожалела Руднева.

– Это недаром, – заметила она, – что-нибудь его мучает. И какой сюрприз это будет бедному Владимиру Алексеичу, которому ужасно хочется ввести его в свет! Он его так ведь любит!

– Кто это Владимир Алексеич? – спросила посланница, – это – старый Руднев? Я никогда не думала, чтоб он что-нибудь чувствовал. *C'est une espèce de bibliothèque renversée!*

Все засмеялись и оставили Рудневых в покое. Катерина Николаевна еще с утра не раз задумывалась и была гораздо молчаливее и скучнее обыкновенного; ссора с Милькеевым оживила ее на время; но чем темнее становилась ночь, чем ближе подвигался ужин и сон, тем чаще на глаза ее набегало облако, и раз она даже не слышала, что спросила у нее баронесса.

Пужинали; дамы и девочки ушли в палатку; мужчины и прислуга уснули где попало под деревьями, на шинелях и коврах, и кожаных подушках; только Катерине Николаевне не спалось; часа два пролежала она в палатке, на покойной складной кровати, прислушиваясь ко всем звукам, к ржанию и топоту лошадей у коновязи, и вышла наконец на воздух, накинув только шаль на белую блузу. Ночь стояла темная, костер чуть тлелся в стороне. Терпела она три часа, хотела и еще терпеть, и не стало сил! Хотела она просидеть одна у костра на ковре и не тревожить никого, но и на это решимость длилась недолго. Ей надо видеть Милькеева, надо говорить с ним; завтра утром опять шум, опять люди, опять любезная хозяйка и вождь веселого отряда; целый день думала она о том, как бы остаться с ним надолго одной. Она зажгла спичку и, на тихом воздухе, едва прикрыв ее рукой, нагнулась к живой черной груде, которая была у ног ее... Вот севаستопольская бурка младшего Лихачова... (лишь бы он не проснулся некстати!) вот и кудри Милькеева из-под шинели...

Вот он спит, *сегодня*, при всех, хоть и поделом, но все-таки обиженный друг! Еще зажгла спичку: или не надо будить его? лучше не надо... Совсем было нагнулась, чтобы рукой его тронуть; но у Милькеева сон был самый чуткий.

– Это кто? Это вы? Что вы делаете?! – спросил он с удивлением и встал..

Она уговаривала его лечь опять, раскаивалась, но он отвечал:

– Нет, ни за что! Я и так не спал. Бог знает, что бродило в голове...

Он сам отнес небольшой коврик подальше от палатки и поближе к костру, подложил еще хворосту, и они сели.

– Что с вами? Отчего вы опять не спите? – спросил он.

– Отчего? Вы бы лучше с удивлением спросили, отчего я сплю? Много ли я сплю и как я сплю? Впрочем, вы сами говорили всегда, что я не имею права ни на что жаловаться, что вы ни в каком случае жалеть меня не станете...

– Еще бы вас жалеть! Не принести ли вам еще что-нибудь на плечи?

– Не надо, сидите; скажите мне лучше, что мне делать, брать или не брать этого Юшу?

– Муж вас очень просит, отчего же не взять... Да и на что совет, – вы его слушать не станете. Вы сами все уже передумали...

– Вот потому-то мне и хочется узнать от вас, все ли я передумала. Я как безумная ждала ночи, чтобы хоть между сонными оставаться одной.

– Что же вы придумали?

– Взять? – продолжала она в раздумье, – неравенство с моими детьми... зависть; быть может, он избалован; мать его была умна, но недобра и несимпатична; отец? Я бы вам сказала, что такое его отец! В кого ему быть, какое воспитанье!.. Ну, хорошо, исправим его. Все же страшно; уж наша жизнь здесь так хороша, не испортить бы ее как-нибудь. И это не беда; положим, я сумею опять все поправить... Другое придет в голову: покажется, что ребенок этот не по годам испорчен, что он моих детей всему грязному научит!.. Одно за одним, одно за одним. Придет мысль, поточит-поточит, вот здесь, и опять отойдет... Другая за ней...

– Да это просто вас раздражило все вместе. Езда верхом, жаркий день, наш давишний спор, быть может...

– Да! Если бы вы знали, что вы мне напомнили давеча, когда так гадко выразились за обедом... Я понемногу, с годами, стала забывать свои старые впечатления. А теперь все смешалось у меня в голове: Юша, вы, мои дети, как я мужа любила, как я его разлюбила, как я с ним рассталась... Я представила себе, что он захочет повидаться с Юшей, приедет сюда... могу ли я отказать ему в том?.. Дети уже забыли... По крайней мере меньшие. Маша? О, Маша ничего не забудет... Она молчит и не спрашивает об отце. И я, разумеется, не спрошу у нее, помнит ли она, как она отвечала, когда в Тифлисе гости спрашивали у нее: кто она? Она отвечала: «Маша, солдатская дочь!» Но, ручаюсь вам, что она помнит это!.. Я знаю, что я права, что для них и для людей я с ним рассталась. А сердце точит-точит, все спрашиваю себя: не лучше ли было бы его переносить? Может быть, он с годами бы лучше стал!

– А за что вы с ним расстались-то, я до сих пор толком не знаю? Неужели за какую-нибудь неверность?

– Нет, мой друг, я терпела все его неверности. И любила его, и терпела... Пробовала ревновать сначала и устала. Его и ревновать было трудно: он сам этого чувства не признавал между мужем и женою. Его правило было «vivons et laissons vivre!» Сам неверен, и в отчаянии, что я верна... Ведь я вышла за него глупая, невинная, совсем ничего не понимала, всего боялась... Любила его так, что без него отыскивала его старые перчатки, которые ремнями от уздечки пахли, и целовала их по получасу; а он уверял, что взять за руку законную жену несносно.

– И сам никогда не ревновал?

– Он!? Да он был самый счастливый человек, когда видел, что я нравлюсь и была окружена. «Дай мне забыть, что ты жена моя, и я влюблюсь опять в тебя», вот что он твердил. И на Кавказе, и за границей, и в Москве – он старался из всех сил сблизить меня то с тем, то с другим. «Ради Бога, не компрометируй ты меня своей буржуазною привязанностью... К чему ты до сих пор не можешь не смотреть на меня при всех с счастливым лицом... Это грязно и еще хуже, c'est ridicule, c'est roturier! Это прилично жене какого-нибудь станового, любоваться на мужа». Как он расхваливал мне то того, то другого! Не было самых грязных вещей, которыми бы он не старался расшевелить мое воображение: заставлял меня Жорж-Занда читать; а я, вместо того, чтобы из Жорж-Занда-то «гососо» взять, которое он бы хотел... взяла, как бы это сказать?

– Положим, готическое и стройное стремление вверх!.. – сказал Милькеев. – Вы и наружностью похожи немного на Страсбургский собор... Вы не сердитесь, однако, если я вам не шутя скажу, что он мне очень нравится, и я удивляюсь, как вы могли расстаться с таким блестящим человеком... И на том портрете, который у вас остался, в казацком платье, – какое славное лицо русского вельможи!.. Немного грубые черты, но сколько благородства и энергии... И притом он, говорят, отважный человек!.. Удивляюсь!..

– Он не знал, что такое страх, – продолжала Катерина Николаевна. – И доброта у него была, по временам, сильная... Федя на него очень похож: такой же веселый и храбрый... Но у Феи никогда, я надеюсь, не будет тех ужасных пороков, которые сгубили отца... Мой муж ничего не боялся: первый раз он был разжалован двадцати лет, по просьбе отца, который сам приезжал просить государя об этом... Не было шалостей, самых жестоких, которых он не позволил бы себе, когда приходила фантазия: стрелял в людей дробью, женщин, знаете, таких, выбрасывал из окна; потом осыпал их деньгами и раздавал деньги бедным товарищам и слугам... Шесть лет был он солдатом... Когда новый начальник приехал на Кавказ, – велел тотчас позвать его к себе, увидел у него на лбу рубец от кивера и спросил: «Что, Новосильский, тяжело?», – так он отвечал: «О! нет, ваше п-ство, отлично!..» Его оставили еще на год. Солдаты его обожали; в деле, мне говорили, он был страшен... Солдаты под Салтами ему сами присудили георгиевский крест, и начальство утвердило. Вот какой он был! Я тогда приехала с отцом на Кавказ на воды; отец мой знал его еще ребенком. Я вышла раз на балкон, вдруг подходит солдат и спрашивает отца; я говорю ему: «Подожди, на что тебе сейчас, папа спит!» И сама удивляюсь, что это за солдат – *comme il faut*. Я такая была дикая, неловкая, сентиментальная... По целым часам при лунном свете сиживала у окна и плакала о том, что никто в свете не может любить так, как я; или ночью на фортепиано играла, когда в трубе камина шумел ветер... Долго ли мне было влюбиться, да еще и в такого героя... Ведь он в самом деле был герой! Отец мой сам влюбился в него; обвенчались; произвели его скоро, и уехали мы за границу... тут три года был все праздник и праздник! Во Флоренции танцевали, в Неаполе, Париже, на водах, везде были... И я похорошела, пополнела, и застенчивость моя пропала... Я прежде думала, что я урод, такая большая, черная, худая; и братья дома смеялись надо мной, все звали меня «вороной» и «madame фон Амстердам» – это тогда великаншу показывали за деньги, а «вороной» звали за то, что я была бестактна, что меня всякий мог обмануть... И после этих всех мелочей, понимаете, везде на меня все любят; в Рим мы въезжали в самый карнавал, в коляске... так итальянцы кричали: «как она красива!» и бросали мне цветы... Вот после какого-нибудь такого случая он дня на два влюбится опять в меня... А там, опять старается влюбить в кого-нибудь, чтобы я не плакала об его неверностях. Какой он был бесстыдный на все это! Раз мы ехали из Парижа в Saint Cloud в коляске: я, он и одна маркиза, по-моему очень натянутая и противная... Но он говорил, что «такой он еще не знает – надо и такую узнать; что он в Париже в первый раз!» Пошел маленький дождик, она предложила ему пересест к нам и поднять верх... В сумерках я не могла рассмотреть ничего, но слышала только, как она без стыда сказала, когда дождь перестал и велели открыть коляску: «nous avons été trop peureux», т. е. «trop heureux!» Он на другой день сам мне рассказывал, что они Бог знает что около меня делали!.. Бросил меня в Милане одну на целую зиму...

– И тут вы не увлеклись никем? Это непонятно! – перебил Милькеев.

– Нет, был в Милане один поляк высокий, бледный, лицом на Ван-Дика похож был немного. Он стал часто ездить ко мне, учил меня по-польски, говорил, что поляки должны быть для славян тем, чем французы были для Европы, что Пушкин перед Мицкевичем то же, что изящный афинский раб перед чистым и свободным римлянином; занимал у меня деньги, и я ему стала во всем верить... Начала думать: «Что ж? Если мой муж будет рад, и поляк будет рад, и я буду рада?» Только был тоже в Милане тогда один француз, именно *un petit français* – Charpentier, всем он был *petit* и мне вовсе был не по сердцу, однако он что сделал? приехал

к Злотницкому и сказал: «Или завтра стреляйтесь со мною насмерть, или уезжайте отсюда, чтобы Новосильская вас забыла!» Злотницкий, не простясь, уехал, а Charpentier я перестала к себе пускать. Так и осталась, все-таки назло мужу, верна.

– Все это презанимательно, – сказал Милькеев, – только я не понимаю, за что вы с ним расстались и чем я давеча напомнил его. Я все о себе беспокоюсь! Хотя до сих пор это сходство было для меня вовсе не обидно.

– Вы сказали давеча, что не купите лекарства мужикам... Отчего вы не сказали: людям вообще? Я понимаю, что это все равно; только если бы вы сказали просто людям, меня бы это, кажется, не так испугало и оскорбило... Из-за крестьян мы с ним и разошлись... Постойте, впрочем, я лучше по порядку вам буду рассказывать, как его характер все хуже и хуже портился.

– Вы смотрите, не озябли ли... Скоро заря займется – холодно.

– Что вы! Я вся горю! дайте руку... Видите... Ну, пустите теперь руку и слушайте... Приехали мы опять на Кавказ: он без своей службы и войны соскучился, и через год опять его разжаловали.

– Это еще за что? – с удивлением спросил Милькеев.

– За пустяки... У него был соперником один генерал... Толстый, глуп очень, bon vivant из себя представлял и за мной ухаживал и за Имеретинской, княгиней одной. Он так был толст и глуп, что никому не мог нравиться: вздумал меня раз не пускать верхом ехать и лег у ворот дачи ничком, а я и перепрыгнула через него. После жалко стало, но та грузинка его и не жалела даже, и где же ему было с моим мужем спорить... Мой муж был так находчив, так остроумен, стихи даже очень недурно писал... Раз в маскараде он был просто в своем казацком платье и подал ей стихи. Я их помню: Я много жил в немноги годы И школу жизни изучил, Но в вихре светской непогоды Прямое сердце сохранил.

И верьте, средь забав нестрогих Я многих, может быть, любил, Но уважал немногих. и подписался: «уважающий вас казак-стихотворец». Недурно ведь?

– Да, кстати, по крайней мере! – отвечал Милькеев.

– Вот раз мой муж сходил с лестницы от товарища с другим офицером, немного пьяный, а генерал ему встретился, шолкнул по воротнику и говорит: «Что поручик, залито?» А муж мой его по лбу ударил: «Что, генерал, пусто?» За это и разжаловали опять... Опять начались эти экспедиции, слезы; Маша родилась, в плен его взяли, насилие выпустили – это я вам в другой раз все расскажу. Тут он стал гораздо злее: выпрыгнул раз из окна одной дамы, днем, растрепанный и без фуражки, чтобы опозорить ее... Народу на бульваре было множество. Сорвал раз со стены мундштук и прибил меня из-за вздорного спора; я хотела уехать, но он раскаялся и даже плакал. Я осталась, и мы уехали сюда... Здесь он что начал от скуки делать! Если бы вы знали! Это передать трудно. Я читала, занималась детьми; цветники и зимний сад разводила; Оля только что родилась, а он стал пить и играть в уездном городе, пропадал по неделям, сек и бил людей, заставлял запрягать себе, как он называл, «обывательских» лошадей по восьми разом в карету; вздумал, наконец, собирать с крестьян по рублю с души в месяц каких-то столовых, потому что денег ему всегда было мало. А я в Троицком выросла, всех людей здесь знала, отец и мать здесь жили, я любила здесь все... Я сказала ему, что дети такого примера не увидят, и люди не должны больше ничего терпеть... чтобы он ехал отсюда, что я заплачу все его долги; он чуть не убил меня, но я уехала с Машей к брату в Москву... А тех детей он не дал. Брат мой придумал уловку: пригласил его через полгода в свой дом на свиданье с теми детьми, – я их увела через сад, посадила в карету и уехала сюда, а у брата в руках оставила к мужу письмо, в котором объявила ему, что для детей и крепостных моих я не пощажу его и, как он сам знает, могу про него такие тайны и такие насилия обнаружить, что ему лучше согласиться на мои предложения. С тех пор мы больше не видались; я знаю, что у него кроме жалованья ничего нет; узнала, что ему три года тому назад ногу оторвало ядром, хотела было ехать в первую

минуту, да образумилась и послала ему только денег через третье лицо. Он, разумеется, знал, что это от меня; но он настолько умен, что не благодарил и пишет только иногда об детях к брату... Вот вам, Вася, моя жизнь!.. Вот вам мой муж!

– Какая полная, пышная жизнь, – в раздумье сказал Милькеев, – сколько пользы сделал вам этот человек! Я понимаю индусов, что они строили храмы Злу!.. Что ж вы сделаете теперь?

– Насчет Юши? Я придумала вот что; не знаю, как вы найдете. Пусть его присылает с верным человеком, но чтобы сам муж мой не ездил сюда, иначе я несогласна, деньги на воспитание мне не нужны; а то, что от матери Юши осталось, пусть пришлет; я спрячу их, а он истратит. И чтобы в воспитание ребенка и не думал никогда мешаться; но я увижу через год: если он будет вреден моим детям, я его, как ни жалко, а держать не стану!.. Он знает меня, и сам, в добрые минуты, звал меня прозрачным хрусталем, я уж постараюсь!.. Хорошо придумала я?

– Я удивляюсь, зачем вы спрашиваете у меня совета? Вы так хорошо сами умеете и думать и делать!.. – вздохнув, отвечал молодой человек.

– Все-таки спокойнее, когда другой ободрит. Завтра же, в монастыре, напишу письмо!

На другой день в живописный монастырь приехали прямо перед всенощной; все, кроме Катерины Николаевны и Маши, сказались усталыми и остались в гостинице за оградой, но мать и дочь отстояли всю службу за огромной колонной в тени. Глядя оттуда на свечи перед золотым иконостасом и на седых монахов, которые становились посреди церкви полукругом и пели густыми, согласными голосами, они обе молились, плакали и клали земные поклоны.

Х

– Нет, у нас лучше! – сказал себе Руднев, отворяя дверь свою и спускаясь по двум ступенькам в пристройку... Опять обдало лицо родным, смолистым запахом, и, как в таинственном святилище, спущены занавесы темно – зеленые на веселых окнах... Книги! Вот они здесь, верные, однообразно-глубокие друзья!.. Ждут, бедные, и будут ждать всегда, без ропота, готовые доставить наслаждение... Куда как книги лучше людей!

Он был счастлив, вступая в свою скромную твердыню, но грустный вид его, его утомленное лицо испугали дядю... Руднев ждал этого испуга; еще верст за десять до дому стал он с горечью ожидать его, приготовляя то долгий рассказ, то отрывистую отговорку.

– Грудь? Голова? Мяты? Кашель?..

Как это нестерпимо создана жизнь, что от самого преданного человека нет возможности скрыться!..

– Ничего, ничего... пройдет... ничего! – повторял он внушительно, уходя от дяди, и дядя слышал, как он два раза щелкнул замком, запирая дверь в свою пристройку.

«Ну, Бог с ним!.. Пусть отдохнет. Или уж не обидели ли его чем; бывает это», – думал старичок, вспоминая, как лет шесть тому назад одна дама обратилась к нему очень ласково: «Любезный, вели моих лошадей подать», и когда Владимир Алексеевич с неудовольствием отвернулся, дама сказала: «Ах! какой ты невежа!.. Я тебе говорю, чудак, лошадей!» Но Владимир Алексеевич – человек опытный и с характером. Вынув из кармана старинную золотую табакерку, он измерил насмешливо даму с чепца до оборки шелкового платья, которое она волочила за собой по полу, и заметил ей тонко: «Если я не ошибаюсь, сударыня, вы ошибаетесь!» и вслед за тем прошел мимо нее, играя старинной табакеркой, и вступил в гостиную.

– А он молод – неравно и сробел!.. Доктором, поскорей надо доктором стать... Тогда всякий: с искренним почтением и величайшей преданностью, милостивый государь, имею честь быть, ваш покорный слуга!.. И на конверте пишется: «Его высокоблагородию, милостивому государю, Василию Владимировичу Рудневу».

К обеду взгляд племянника стал гораздо добрее и лицо не так бледно; покушав с аппетитом, он сам завел разговор.

– Знаете, дядя, предводитель предлагал мне похлопотать о месте окружного врача... Я обещал подумать... Дня через два не дадите ли вы мне беговые дрожки... Небось дадите?

Дядя только улыбнулся на этот последний вопрос.

– Я думаю, вы правы, что без источника нельзя... Все-таки триста рублей в год! Да и кстати, хочу замолвить слово об одном семинаристе, которого я встретил у отца Семена: не найдется ли ему место учителя где-нибудь.

Не стоит и объяснять, как рад был дядя такому намерению; с радости он было хотел спросить: «а что по истинной правде, какие побуждения были к подобному побегу.», но та внутренняя задвижка, которая с такой силой запирает вдруг душу людей осторожных, спасла Руднева от противного вопроса и смущения.

Шум, пение, пляска, зеленый двор, столы на козлах, уже почти опорожненные; розовые, синие, красные сарафаны и рубашки, золотые сороки, свист и топот женщин; черный плис и светло-зеленые поддевки молодцов... оранжевые кафтаны мордовок с шариками пуха в серьгах – вот что встретил Руднев, въезжая во двор Лихачевых... Предводителя, к несчастью, не было дома: так сказала ему у ворот одна чернобровая в малиновом сарафане и парчовой повязке... и указала на Александра Николаевича, который, как всегда в поддевке, сидел у своего крыльца на бревне, рядом с простой старухой и курчавым молодым барином в голубом бархатном чекмене.

Перед ними толкся под гармонию тот самый здоровенный дед, который не хотел везти Руднева ночью.

– Довольно, дед, плясать, довольно, – говорил сухо, Лихачов, – надоел уж ты... Как толчея какая-нибудь перед носом...

– Друг ты мой! – вскрикнул старик.

– Чисто что друг! – отвечал еще суше Лихачев, вставая и отстраняя слегка плясуна, который хотел обнять его, прибавил, – смотри-ка, кто приехал.

– Кто? голубчик мой! Кто для меня есть на свете кроме тебя!

– Это все так!.. А ты посмотри, доктор приехал... Он в стан ездил на тебя жаловаться, что ты избил его ночью... Говорят, становой скоро будет за ним... Ведь доктор-то колдун: захочет, навек испортит...

– Ой! не страдай ты меня, старика, – с веселой улыбкой, припадая к плечу Лихачева, шептал дед.

– Довольно, пусти... Смотри, вон он слез с дрожек, идет... Хотя и мал, да в рот ему палец не клади...

– Не положу, голубчик мой... не прикажешь ты, я и не положу... Все по-твоему будет! Все по-твоему.

– Однако ты не на шутку пристал ко мне! – говорит Лихачев, подвигаясь вперед не без труда, потому что пьяный старик почти висел на нем. – Пусти мою руку... Эй, девушки, девки! Хотя бы вы заступились... Дед-то меня вовсе уж одолел!..

Несколько баб и дворовых девушек бросились на деда и оторвали его от барина, который поспешил навстречу давно уж с беспокойством озирающемуся гостю.

– Девушки, голубушки! Пожалейте старика, – твердил дед, – нет ли, как третёвadni, помадки у вас...

– Есть, дедушка, для вас есть... Настя, беги, носи живей помаду... На-ка, выпей еще браги пока.

Настя живо принесла помаду. Старик напмадил себе голову, усы и бороду, нюхал руки и приговаривал: «Эх, как годно! Эх, тоже!», выпил браги и пустился снова плясать, припевая тонким голосом, как женщина: Распмадил, раздушил! Красных девушек смешил – Bravo! Важно! – воскликнул, подкатывая под лоб глаза, помещик в голубом чекмене... – Валяй, валяй!..

Девушки хохотали. Пение, свист, балалайка, гармония, крики и смех поднялись вдруг со всех сторон с новой силой и восторгом.

– Вашего брата нет дома, – скромно сказал Руднев Александру Николаевичу, стараясь отворотиться в сторону. – Я к нему по делу...

– Вероятно, он будет сегодня дома... Подождите его здесь, или пойдемте в дом... Здесь не лучше ли? Вот, рекомендую вам, известный всем в околотке, по своему разврату, Сарданапал...

– Чорт! – отвечал бархатный чекмень, на которого разумеется, указывал этими словами Лихачов... – Напрасно, вы, доктор... (очень приятно познакомиться) с этим дьяволом...

– Это кого? Кого? – подбегая, спросил старик. – Это ты Александра Николаича так?.. тьфу ты, окаянный, ругаешь...

– Я тебе сказал, дед, чтоб ты отвязался, – строго заметил Лихачов, – надоел ты всем, как горькая редька... Доктор здесь... помни! Ступай, старик!.. Сядемте на крыльцо, нам сюда принесут чаю.

Они сели, а Сарданапал пошел в толпу, где наряду с крестьянскими парнями, опираясь на плечи хороводниц, подпевал и веселился.

Руднев объяснил Лихачеву свое желание быть окружным врачом на место г. Зона, просил его напомнить брату о том разговоре в избе, на ночлеге, в котором предводитель сам предлагал ему это место, и сказал, что оно ему особенно нравится тем, что, может быть, келейно разрешат жить в деревне...

Хотя лицо Лихачева было красно, но свежие глаза его доказывали, что он сохранял все присутствие духа трезвого человека.

– Жаль, что брата нет, – отвечал, – он бы вам все лучше растолковал... Впрочем, я думаю, вам самим нужно видаться с Зоном и поручить ему обделать это дело в Петербурге... Да брат вам это устроит... Э-э! Акулька пляшет, это интересно... Не хотите ли посмотреть?

С этими словами Лихачов тростью постучал в окно флигеля и закричал туда: – Милькеев! полно тебе газеты читать... Какая скука! Акулина пляшет... Довольно... Оставь свое педанство! Хуже деда надоед с своим чтением.

Милькеев вышел и поздоровался с Рудневым. При виде этого разговорчивого и беспокойного человека Руднев испугался, чтобы он не спросил у него, зачем он тогда уехал; но Милькеев, пожимая ему руку, не сказал даже ни слова.

Акулина была вдова, лет под тридцать. Продолговатое лицо ее было смугло, прекрасные серые глаза и томны и веселы по желанию; одета она была не богато и не бедно; всегда веселая, трудолюбивая и добрая, она была любима всеми, начиная с господ... Любовников у нее было множество; иногда ее били, но все это забывалось скоро, и она опять плясала, пела, смешила всех и работала, припевая.

Она плясала с упоением и приговаривала беспрестанно то то, то другое, подсакивала к пожилому столяру, который то мчался к ней, расправляя бороду, то многозначительно толкся на месте...

Уже месяц взошел; запахло коноплями. Все молча, тихо любовались на пляску.

– Чем я не баба? – кричала вдруг Акулина. Или вдруг обращалась к столяру: – Поправь бороду... Я бородку люблю...

Махнув платком в сторону молодых господ, она сказала вполголоса: «Знакомые люди!» – Сарданапал, – сказал Лихачов, – это на твой счет... Ведь ты был один из первых... Милькеев, как бишь это у Шекспира... тот говорит... ну – Фальстаф.

– Уж ученость-то, ради Христа, оставь, – закричал Сарданапал, – мало вам было сегодня... Вы с Милькеевым мало разве об инфузориях электричества толковали... Просто смерть мне вас слушать... Зачем камень летит книзу, а не кверху?

– Всякому свое, Павел Ильич, – отвечал Милькеев, – у вас одно, у других – другое... Вы – специалист по вашей части...

– У него разделение труда в доме доведено до крайности, – заметил Лихачов, – Паша, Настя, Катюша, Февронья, Хавронья... Это не шутя, у него есть Февронья и Хавронья.

– Февронья летняя, худенькая, а Хавронья зимняя.

– Нет, ты расскажи-ка лучше, как ты своими незаконными детьми выселки хочешь селить?

– И поселю; что возьмешь?

– Чорт знает, что это такое, – прошептал Милькеев, отходя прочь, – нам, доктор, в одну сторону, кажется? Поедьте вместе в тарантасе, а на ваших дрожках какой-нибудь мальчик за нами доедет... Лихачев даст мальчика... Мне очень нужно с вами поговорить... Где он? Лихачев?

Но Лихачев не отозвался, потому что приятель его, старый дед, совсем пьяный, заснул пренеудобно, вниз головой, свалившись с сена в углу двора. Милькеев и Руднев увидели, как Лихачев вдвоем с кучером бережно отнесли на руках тяжелого старика под навес и уложили его в прохладе и покое.

Народ разошелся почти весь со двора, оставив в душе Руднева очень грустное впечатление, в причине которого он и сам не мог дать себе отчета. Сарданапал насилию держался на ногах и бранился; Лихачов отправлял его спать... С деревни еще слышались песни... Луна была высоко, и Рудневу страшно хотелось быть поскорее в широком поле. Достали какого-то мальчика для беговых дрожек, и молодые люди, севши в тарантас, видели, как Лихачов, едва

простившись с ними, скорыми и твердыми шагами пошел на деревню в ту сторону, где допевались песни.

– Нравится он вам? – спросил вдруг Милькеев, проводив его глазами, пока было можно в темноте. – Ведь молодец?

– Мне кажется, что общего тут мало, – отвечал Руднев.

– Мало-то мало... Да у него это иначе, чем у других выходит... Я ему завидую страшно!.. Мы все уважаем да жалеем народ; а он просто любит его и даже не знает, что глагол «любить» идет к его манерам.

XI

Ехать им вместе приходилось верст двенадцать; было, когда поговорить. Милькеев завел разговор сперва об университете, о физиологии, попросил совета себе от головных болей, хвалил деятельность провинциального врача и потом вдруг спросил: – Отчего бы вам не служить в Троицком? Мне поручено вам предложить это. Я ведь сам хотел ехать к вам. Ваша суровость отталкивает всех, и дядя ваш отказывается вас уговаривать, но я хотел испытать над вами свое красноречие.

– Я уже знаком с вашим красноречием по тому разговору в липовой роще.

Если бы не ночь, Руднев увидел бы, что сосед его покраснел.

– Однако вы не только суровы – вы и язвительны, – отвечал он, – впрочем, это ничего. Давича я еще сказал этому болвану-Сарданапалу: всякому свое: кабану – клык, волку – зуб, а лошади – копыто. Только вы меня не язвите – это не подействует. Вы лучше мне скажите, почему вы не хотите в Троицкое? Вы нас всех, признаться, заинтересовали вашим ночным побегом. Знаете, это – своего рода сила. Многие люди идут на смерть, на труд, но на внезапное нарушение приличия и рутины – решатся очень немногие. И мне и Катерине Николаевне это очень понравилось.

«И мне и Катерине Николаевне!», подумал Руднев: «вот как! Я-то, я-то!.. А ведь какая у него приятная, добрая улыбка и какое выразительное лицо!» – Я считаю это скорее слабостью, чем силой, – заметил он громко.

– Это делает честь вашей скромности; но это та же теория, что самоубийство – слабость, а ослиное терпение – сила; а не хуже ли всего презирать себя и олицетворять что-нибудь безличное и пошлое. Не правда ли?

– Не знаю-с.

– Ну, полноте! – сказал Милькеев, – ездите-ка в Троицкое почаще. Если у вас есть какие-нибудь язвы, они заживут там. Такого общества, как наше, вы нес скоро найдете. Александра Лихачева вы видели и понимаете немного, а брат его, предводитель, разве дюжинный человек? Он должен найти лазейку в вашу душу уже потому, что кончил курс с золотой медалью в Москве, жил в самом мыслящем кругу еще студентом, отказался от кафедры и уехал сюда, подобно вам. Дворяне как-то умудрились его оценить, выбрали его, и так как имение почти все не его, а младшего брата (они ведь от разных матерей, как вы знаете), так дворяне дают ему от себя пять тысяч в год. Где вы это найдете?

– Знаю, давно знаю, – отвечал Руднев. – Знаю также, что он и прошлого года, и третьего года на следствии высек крестьян. Видно, жаль было с пятью тысячами расстаться!

– Катерина Николаевна упрекала его за это, – продолжал Милькеев, – и сказала, что лучше бы оставить должность тотчас же. А он ей отвечал хоть и грубо, но неглупо: «Вы переплели в рамку спину мужика, повесили на стену и любуетесь ей. По-вашему – брось дело, только не марайся; а по-моему – замарайся лучше, да держись за дело, в котором ты лучше многих». – «Вы, говорит, Катерина Николаевна, – дух, а я плоть». Больно, а надо ведь сознаться, что это нерешенный вопрос, и надо еще знать, лучше ли будет крепостным, если у дворян будет другой предводитель? Одного овса сколько передавал бедным взаймы! Впрочем, Бог с ним! Главное, она — она фон, на котором вышивается вся эта жизнь, неподвижная звезда, без которой ничего на планете не жило бы и не двигалось. Она совершенна до бесцветности. Ее даже невыносимой нельзя назвать, как других слишком хороших женщин: ее лень и маленькие малодушия оборотительны, ее все любят. Вам надо ездить к нам непременно.

– Благодарю вас за вашу заботливость; но ездить к вам, не знаю, зачем я буду. Не для того ли, чтобы навести уныние на все это *ваше*... как бы это сказать...

– Не знаю, за что это вы мне все колкости говорите! – мягко и ласково отвечал Милькеев. – Я к вам, а вы от меня, – прибавил он так простодушно, что Руднева схватило за сердце.

– Ну, спасибо вам, коли так! – сказал он, вздохнув. – Да знаете ли что? Вы вот ее хвалите что-то очень. Знаете ли что? К мужикам-то она везде будет добра! Мужик-то не *mauvais-genre*. Ему дал отдых, да денег, да два добрых слова сказал, так и квит. А ведь гроза этих аристократов – мы... мы... Вот где реактив-то для них химический, в нашем брате, то есть в моем. Вы, конечно, сюда не относитесь.

Милькеев усмехнулся.

– Значит, я и понимать вас неспособен в подобных ощущениях?

– Ну, понимать, поймете авось. Так я говорю, что мы-то, мы – сорная трава, которую надо им выполоть из своей обстановки. В нашем брате внешней поэзии нет. А ведь с одной внутренней далеко не уедешь, хоть тресни! Еще хуже, как сыпь какая-нибудь на грудь падет. А ведь мы гордые, хотим сидеть с ними рядом и в разговоре не спускаем. Мужик, тот пришел на двор, выпил водки, поел, и доволен. А наш брат норовит, как бы своим плебейством гостиную их осквернить. Здесь еще терпят: на безлюдье и Фома дворянин, а приезжай-ка к ним в Петербург да смутись раз, смутись два, а на третий и скажут – нездорова, не принимает.

– Вас, как доктора, всегда примут.

– Э, помилуйте! А вы еще светский человек (извините, я это ведь без злобы). Как же вы не понимаете, что это-то и скверно: когда я хочу ехать в дом, я хочу, чтобы меня там желали видеть как гостя, а не как доктора. Кому же охота олицетворять собой гофманские капли, горчичник или слабительное? А, не так ли? Ну-ка, ну-ка! Пускайте в ход вашу элоквенцию. Я вот у вас метафорами позанимался. Только, пройдя сквозь меня, они приняли, так сказать, несколько топорный характер.

– Ну, так что же? Они правы, – отвечал Милькеев. – Я сочувствую им. Что же за охота наполнять свой дом бесцветными людьми, отнимать у него всякую поэзию. Мужик поэтичен, руки его испорчены благородной, земляной работой, и под грубой кожей можно всегда видеть красивый очерк этих рук; его одежда, его кудри, его телесная свежесть и наивная грубость – разве можно сравнить это с каким-нибудь секретарем или учителем! На что они? Если мне нужно эксплуатировать их для какой-нибудь государственной или общественной идеи, тогда другое дело, а то зачем я с ними буду связываться? – скучно! Я беден и, конечно, как видите, незнатен, но я всегда удалялся от них, сколько мог. И не я один так думаю; недавно я спросил у miss Nelly, за кого бы она охотнее вышла замуж: за молодого швейцарского мужика или итальянского рыбака, или за Баумгартена? Она пришла в ужас и сказала: «разумеется, за мужика, лишь бы это было в хорошем, теплом климате и места были бы красивые, где мы будем жить, и лучше за швейцарца, чем за итальянца. *Je n'aime pas ces hommes noirs du midi, ces hommes suits...*» – Говорите по-русски, я вашу французскую фразу не понял.

– Не притворяйтесь. Я вам ее не повторю, а выслушайте дальше. Она еще сказала: «Я люблю высоких, сильных, белых».

– То-то вы, я думаю, пожалели в эту минуту, что вы не белокурый?

Милькеев захохотал и подал ему руку.

– Вот так-то лучше! – сказал он. – Это по-нашему. Это жизнь! Вы еще не совсем пропали для жизни. Я ручаюсь, что вы прикрываете отговорками менее высокими и просто самолюбивыми идеи высшего разбора, которых вы не хотите метать перед всяким. Я могу вас уверить, что я постараюсь не быть всяким, если хотите...

– Постарайтесь узнать эти тайные побуждения мои, тогда и будете не всяким, – отвечал Руднев, уже шутя, – вот дядина деревня. Вы ведь, батюшка, верно, ночуете у меня? Доставьте уж мне это удовольствие.

– Доставлю, если вы мне обещаете не говорить больше «батюшка»: точно один мой бывший товарищ с бакенбардами, который нюхал табак. Вам это совсем нейдет.

– Ну, так я вас буду звать «отец мой», если позволите.

– Это другое дело! – отвечал Милькеев.

Владимир Алексеевич просиял, увидев троицкого учителя (нейдет ли уж дело на лад?), предложил ему чаю с свежим маслом и яиц всмятку.

Милькеев был с ним почтительно любезен, ни слова не сказал о своих приглашениях в Троицкое; кстати перелистал «Памятник Веры» и рассказал одну легенду про Иоанна Златоуста; ел много масла и яиц, пил много чаю; рассказал еще несколько новых анекдотов про доброту Катерины Николаевны и заснул на диване, как дома. Обоим Рудневым он очень понравился на этот раз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.